

ЗАПИСКИ МЕРТВЫХ.

Необходимое раз'яснение.—В дни красного фронта партизаны возвращались из боя веселые, усталые, пахнущие кровью и смертью. Нужное им „барахло“ бросали на партизанский разгул, а найденные у мертвых тетрадки, записки, книжки не уничтожали и себе не брали. Для них, неграмотных или тяжело владеющих печатными словами псалтыря и революционных приказов, казались чем-то священным,—как для всякого суеверно-некультурного человека,—эти письмена, где непонятно продолжала жить душа убитого, уже ушедшая в землю вместе с теплой кровью.

Заметки бывали никому ненужные, отрывки официальных людей контр-революции и революции, и были символы, знаки крови и страшного напряжения сердец. Мертвые авторы записок, убитые офицера или политработники—совершенно разные люди. Во внешней жизни совершали дела своей партии, бестрепетные и безвольные агенты классовой воли. Во внутренней жизни—люди, как все, возникшие из глубины старого мира и догоревшие в его сумерках.

Среди разных записок меня привлекали воспоминания красноармейца из старого Сибирского полка. Он был телохранителем Николая Романова в Царском Селе и темно-бессознательной, но в глубине ясновидящей наблюдательностью, понял церковно-пьяный и извращенно-молитвенный стиль императорского дворца в предсмертные его годы.

Записки черниговского бандита, бывшего студента. От городской интеллигентской сложности психологии снизился до жестокой междуселянской войны, до пьяной сифилитической, матерной, насильнической, недоверчивой, волчьим бытом живущей бандитской вольницы, и умер в горящем доме, выбежав из него под пулю ногана.

Гвардейский офицер, отдаленный потомок николаевских военных смирителей России, в тугом мундире, и с душой, туго затянутой в военно-придворные традиции балов, смотров, молебнов, балетов, попок, дуэлей,—умерший под партизанской „шаблюкой“, оставивший победителю в ненужное наследство тетради с полковыми печатями гвардейской привилегированной части. Умер он где-то под Знаменкой, а в дневниках—аристократическая яркость жестокой и красивой культурности, самоуверенность последнего римского преторианца, умирающего вслед за своим мертвым императором.

Германский лейтенант, влюбленный в Рейнер Мариа Рильке, в Стефана Георге, модернист графической манеры Климта и Клингера, убитый в душевной селянской хате, когда летом восемнадцатого года мальчишки-партизаны разбили его отряд, взяли добычей винтовки, немецкую пишущую машинку (долго возили ее за собой, не зная, зачем), и дневник—офицерскую записную книжку европейца-империалиста, мечтателя и воина.

В литературе последнего времени стали знакомыми явлениями предсмертные записки людей гражданской войны.

Перед смертью в Чрезвычайной Комиссии, после раскрытого заговора написанная исповедь Гумилева: в поэтической условной форме открывающая движение человеческой души, рост, умирание и возрождение ее в том же теле.

„Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы коня.
Ты расскажешь мне о тех, кто раньше
В этом теле жили до меня“.

Мальчик—колдовской ребенок, словом останавливавший дождь, первобытный и суеверный. „Дерево да рыжую собаку, вот кого он взял себе в друзья“. Второй человек был мечтателем и поэтом, верившим, что мир—коврик под его ногами. Третий:—

„Я люблю избранника свободы,
Мореплавателя и стрелка,
Ах, ему так сладко пели воды
И завидовали облака“.

Четвертый—русский офицер империалистической войны, на „святого Георгия“, на военную жестокость променявший радостную свободу. Пятый—белогвардейский заговорщик, ждущий, что явится „путник, закрыв лицо,

....и все пойму,
Видя льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему.

—свиренного льва на гербе империалистической Великобритании, орла императорской России.

Крикну я. Но разве кто поможет,
Чтоб душа моя не умерла?

Как бесчисленные другие мертвецы революции, Гумилев умер. И он тоже сказал невозможное для слов донныне. В самом деле, как много невозможного раньше, высказывается теперь; и „Смену вех“ нельзя ли расценивать, как исповедь, как выявление разочарованных измученных сердец? Побежденные мечтатели контр революционных утопий дали исповедь политическую, но до болезненности напряженную желанием сказать все, что думается, что чувствуется, помимо официальных лозунгов и формального условного партийного языка статей и воззваний.

В „Красной Нови“ был напечатан ряд полуисповедей-полудневников участников революции и гражданской войны, в частности искренние, но не даровитые записки Аросева.

Конечно, это совсем не старая исповедь, какая была у Шингарева в его предсмертные часы. То было вначале, до всех психологических потрясений революции. Манерные записки в „Архиве русской революции“,—ложь, желание искренность свою использовать для политических целей. Записная книжка Зинаиды Гиппиус в „Царстве Антихриста“ созрела, пропитанная желчью и ложью, далеко, задолго до тех дней, когда победа и поражение в гражданской войне заставили участников битв продумать до конца правду и сознаться в ней перед всеми. Наивные записки мертвых убедительней стилизованной политической исповеди живых.

Политработник Красной армии умер глубокой осенью от черного тифа в жестоком девятнадцатом году. Мы хоронили его в звонких снежных суражских лесах, на путях отступления армии. Три раза гремели и пели пули между красных стволов в прощальных траурных залпах. Тело закоченело в комьях глины, весной смешалось с землей в снеговых ручьях, ушедших от солнца под корни сосен, а книжечка записок осталась, как память человеческих душ этой страшной зимы. Она—своей загробной искренностью, не рассчитанной

на появление в печати,—глубже и богаче литературных произведений. И все они, чужие и близкие, враги и друзья, томилась, любили, верили и строили призрачный мир в сердцах; их мысли отрывочно, случайно, недосказанно сохранились в набросанных мимолетно строках человеческих повестей, никому ненужных в дни войны.

Теперь наступило время невероятной обнаженности человеческих душ. С такой же страстностью, как Блаженный Августин обнажал сердце свое мистическому богу—любви и в исповеди передавал человечеству самые глухие и темные уголки души, так люди наступающих ныне лет легко и просто отдадут себя всем: настала эпоха литературного и жизненного исповедничества.

Профессор Л. Карсавин пишет книгу о любви, „Петрополитанские ночи“. Невероятно было раньше для строгой академической науки, но просто и убедительно теперь обнажать сокровенное, потаенное, свое, до самых заветных минут с возлюбленной женщиной.

Гершензон, в переписке из двух углов, не перед священником, а перед нами, врагами его культуры, коммунистами, покаялся в смертельных невыносимых тайнах своего сердца. Борис Пильняк тем и стал дорог людям революции, что сокровенное дум и глубочайших чувств показал, как отражение их собственных волнений.

Андрей Белый—исключительный мастер исповеди о кризисе жизни, о кризисе культуры, о кризисе всего, чем жили, чем трепетали души людей от четырнадцатого года до сегодняшнего дня. Все дарование Белого, весь его символизм, пошел на обнажение корней чувств, переходящих из слов, обращенных ко всем, в глубину бессознательного, „инфантильного“, детского, звериного, первобытно-религиозного, чувственного содержания человека. Александр Блок в „Записках Мечтателя“ дал рассказ об опустошенных душах, о людях, которые выжжены революцией и заражены извращенным „дэндизмом“ самообнажения.

Наш суровый материализм полностью освобождает от наивной мечтательности религиозной мистики, которой пропитано исповедническое настроение современных культурных людей. Для нас—не тайны, для нас—психологические документы, свидетельства и доказательства умственного упадка, распыления и вырождения условных идей и символов старой культуры.

В каждом человеке соединяются два начала: его собственное материальное, то, что было передано в семенном зародыше в глубину рождающего чрева матери отцом-самцом, что выношено, воспитано было и развилось со своими индивидуальными влечениями—к насыщению голода, к удовлетворению половой страсти, к власти и жестокости; второе начало—условный человек современной ему классовой культуры, человек, как точка пересечения бесчисленных кругов социальных отношений, борьбы и культурных столкновений, символический человек, умственно сильный потому, что общество воплотило в нем опыт миллионов людей.

В разгроме гражданской войны старый символический культурный человек разбит, уничтожен вместе с его буржуазной культурой. Неспособный усвоить культурные идеи нового общественного класса, как бы обнаженный от старой одежды, он почувствовал глубину своего бессознательного страшно близко к поверхности мысли. Что было раньше скрыто густыми культурными наслоениями, теперь выступило на поверхность, как корни дерева из-под земли, смытой потоками весны.

Отсюда—исповедническое настроение, отсюда—ценность документов человеческих переживаний участников революции (за и против нее), живых и умерших.

Возрождение личности и личных интересов на смену общественно-классового захвата человека политическими влияниями чаще всего свидетельствует о начале культурно-реакционной эпохи усталости. Рабочему классу менее всего свойственны личные надрывы. Исповедническое настроение—право и культурное проклятие интеллигенции. Приведенные дальше отрывки из записок интеллигента-красноармейца являются психологическим документом психологических болезней личности, потрясаемой революцией, втянутой в ее круговорот и равно обреченной на гибель,—будь то смерть физическая или растворение в классовой идеологии пролетариата.

ОТРЫВОК ПЕРВЫЙ.

Перед войною мир был озарен последней вспышкой нежной и больной радости. И теперь тоже много веселья, и будет его много всегда, но какое же оно веселье?—хмельное, грубое, кабацкое разгульное, веселье одичавших, вставших из низин, которым нет названия, потому что нет в них мысли. Это веселье дикого и пьяного года, года кровавых канунов.

В первой половине 1914 года мир пережил совершенно своеобразную агонию культуры.

В чем она выразилась?—в символическом искусстве, в утонченно-дикарской музыке, в искусстве экстатическом и тонком.

Дикарская музыка: танго, оранжевое танго, свившее в своих узорных звуковых вихрях очарования и мировое разрушение. Было предчувствие конца культуры или, если не конца вообще, то конца этой культуры, той, которой мы жили, последние люди, как стрелы брошенные в будущее, пролетевшие мимо дней войны, чтобы вонзиться, трепеща и содрогаясь, в огненный круг революций.

Жили и горели в искусстве, в науке, в эротике, зная, что последние дни клубятся в пыли, сквозь которую идут железные миллионы убивать, разрушать, умирать, гнить, восставать, падать и топтать хрустальные обломки.

Знали: завтра настает день, когда все наши мысли, все наши восторги, все, чем жили, что берегли, станет ненужным никому.

Думали: зачем воодушевлять рабочих к революции, если завтра они будут преданы, закрепоены на заводах, отравлены проклятой военной мечтой?

Спрашивали: для чего строить города, если четырьмя динамитными взрывами завтра они будут сметены в гнилую свалку обломков и тел? Для чего исповедывать интернациональность и человечность, если завтра мир восторженно бросится в хаос ненависти и мести?

Ждали: Россия, белая безумная снеговая страна, гробница императоров, тоскующая, страшная, с жизнью невыносимой и унылой, вспыхнет в огне, в огне переплавится и взойдет к небу иная, как дикий стебель нового тысячелетия, или не встанет никогда, и даже имя свое потеряет.

Это не были сознательные чувства, были предчувствия войны, и они, инстинктивно и слепо вторгались в каждое действие, в каждый порыв, убивали их, поили отравой и предсмертной агонизирующей слабостью. Отсюда—то великолепное, чему нет названия.

1914 год—самый прекрасный и страшный год в истории мира... Потом агония окончилась и над миром навис мрак ночей бесконечной войны.

В дни красной смерти ярче горели губы женщин. Было искусство призрачное и удивительное, насыщенное первобытно эротическими мотивами, то есть мотивами религиозными, манерное, миниатюрное, лишенное мускулов, даже лишенное красоты, но переполненное магической силой, голубым пламенем. Культура, полная противоречий, странных экстазов и беззаботности умирающего общества, которое скоро будет пронзено грубым ударом штыка и брошено в сторону гореть и гнить в огнях войны.

Весна 1914 года странная была, напоенная какими-то единственно в эту весну возникшими и в ней угасшими ароматами. Было предчувствие войны. Приезжали культурные странники, бродяги по путям Европы, говорили о предвоенной Бельгии, о дичающей, как зверь перед схваткой, Франции, о страшных признаках, о неизбежной катастрофе.

Я жил в большом доме, по улице, где ночи и дни грохотали обозы, лязгало и билось железо, где гнойная отравка дышала в грязи дворов и домов.

О, как я тосковал о весне! Мне стыдно было и страшно жить здесь, в грохоте, железном вое и зловонии, в удушьи пыли и камней. Вечерами всходила луна на просторных синих дорогах неба. Она входила в мою комнату голубой улыбкой.

В моей комнате было тихо и немного торжественно. Я люблю в памяти ее, с высоким потолком, с зелеными занавесами на окнах и дверях, освещенную матовым слабым светом. В ней всегда был какой-то аромат, не то женской чувственности, не то смешанных распыленных в воздухе духов, не то старых книг...

Далеко за полночь становилось тихо в доме. Шуршали тени дня и напоминали голоса, слова, живых и умерших в этом старом доме.

С улицы упорно и мучительно доносился лязг подвод и грохот колес. Везли со складов и на склады железо, цемент, снаряды, патроны, которыми скоро будет взорвана старая культура. Строили войну, громоздили чудовище убийств. Иногда вопли проносились, неистовые, пьяные. То-ли били кого, то-ли звенели стекла в мутных окнах притонов, то-ли дворники тащили пьяную растерзанную женщину. Странная дикая улица, грязная, отвратительная,—и так противоречила оливковой прелести моей комнаты, полок с книгами, нежному свету зеленой лампочки.

Крики умирали в ночном очаровании, проходила луна синими дорогами, проходила ночь путями светлыми и прекрасными.

Среди моих спутниц в эти дни была одна, чье лицо запомнится больше, чем лица всех людей в жизни. Руки всемирной ночи, упорно лежащие на моей жизни, не подымутся, не выпустят из своего цепкого рвущего объятия ее опаловый прозрачный образ. Ее глаза, большие и серые, неподвижные и до бесконечной глубины прозрачные, ее брови, тонкие и выгнутые, ее паутинные руки, ее упорное молчание. Она пришла ко мне, в мою душную комнату и принесла три розы. Наивные розы в тонких пальцах, как будто сорванные с французской миниатюры эпохи Столетней войны.

Шли, молчаливые, вдвоем по рабочей окраине города, но безрадостной, не по весеннему мертвой, убитой хрустящим углем земле. Погасал праздничный день, как игрушечная, издали доносилась медная отрывистая музыка, и в криках человеческой невидимой

массы взлетали ракеты, чертили белые линии, гасли, как человеческая скучная радость.

Двое мимо прошли. Услышал слова, от которых вздрогнул:

— Нет жизни тошнее, чем у нас, в России!..

И я подумал: Братья, вы скоро будете распяты на кресте мирового страдания, и буду-ли я с вами?

А тусклое весеннее воскресенье умирало в голубеющем воздухе. Заводская ровная красная стена впереди стала темнопурпурной. Как на картине Боттичелли, где вдоль стены несет флорентинская Саломея кровавую голову Иоанна. Да, так. Моя голова лежала на коленях северной сероглазой белокурой скандинавки. Запах ее волос, запах ее дыхания, влажная свежесть губ, которым сразу и безвластно отдано мое сумрачное волнение. Это моя голова, это она Саломея, и вдоль красной стены несет, уносит в ночь мою отрубленную голову.

О, тени изгнанниц жизни!..

Вечер пролился на землю, душный, невыносимый. По белому шоссе, когда нелунным мучительным светом овевая земля, два больших луча поднялись над подъемом, вонзились в небо, опрокинулись в белую пыль. Бесшумно и страшно пронесся автомобиль. Музыка звенела в саду танцем, вьющимся в волнах радости. Вот, я представляю себе этот танец,—на поляне в луне, живая и безлика, как лунный миф, кружится женщина с нездешним матовым телом. На ней белое платье и красные чулки. Руки подняты к струям лунных сияний. Кружится в танце, в волнующей песне мистического разрушения мира.

Мистика разрушения. Сразу поверило ей сердце; гимн разрушения, гибели человечества, падения миров.

„На нас ордой опьянелой рухните с темных становий освежить одрахлевшее тело волной пылающей крови“.

И теперь, когда мир разрушен, когда совершились все сроки и сам я пронесся сквозь ураганы и ветры, когда я теперь на другом берегу, как стрела, пролетевшая мимо обрывов и провалов, мимо долгих лет, не забуду,—не могу, не могу,—душного запаха солнца в моей комнате, в матовых сумерках, сквозь опущенные шторы, грохота улицы, по которой везут железное тело еще нерожденной войны, и городской тоски, и влажных лунных лучей, пронизавших собой мистику разрушения, близкий конец мира.

Здесь нет у меня больше слов, нет больше способов выражения боли, нет сил, нет сил...

Только вечер один запомнился на самом краю пылающего мира. Последний вечер. Ветер принес вихрь дождевых брызг и сладостный запах олеандров, а из парка—кипарисовое смолистое священное благоухание. Это было уже далеко от весны, далеко от весеннего города, далеко от моей страны.

Над красной гранитной короной, что нависла обрывом над праздником моря и парка, шли тучи и не могли одолеть гранита. Цеплялись дымным кружевом, падали на вершины сосен и дышали на берег вниз дождевым грозовым удушьем. Вечер длился бесконечный, в теплоте неугасающих сумерек.

Телеграммы змеились в руках людей и наполняли их умы излоблением. Рассказы о зверствах германцев, первый всплеск бешеной ненависти, первый краеугольный камень, обрушенный от подножия распадающейся культуры, вымыслы, ненависть и клевета, и опять и опять ненависть. Вдоль берега, светя сторожевым зеленым огнем, пронесся миноносец, клубя пену и дым, развевая тревогу, как изогнутый кровью гребень ядовитого дракона.

Я был один. Не потому, что был одинок, а оттого еще, что все в мире думали иначе, чем я, и в душе легли складки горечи и боли. Стоял на темном камне. Сбегали прозрачные струи в звонкий каменный грот. Осенняя южная земля. Родная земля прощания с угасающим миром. Я знал, я твердо знал, что с этого вечера жизнь опрокидывает меня в поток огня и крови, и не вернусь никогда к утру этого дня. Годы идти в потоке огня и крови. Мое сердце будет обожжено и окровавлено. Мир возвращается в огонь. И какие новые разъяренные века выведет война из бездны своих человеческих водоворотов?

Ни одного дня нельзя прожить, не думая ни о чем, не желая ничего, не стремясь ни к чему. Стрелой брошена вперед жизнь, кровью сочится сердце, волей и яростью переполнено сердце. Знаю, с этого вечера, когда узнал о войне, первая полоса огня пересекала Европу и началась затаенная болезнь моей души.

ОТРЫВОК ВТОРОЙ.

Сегодня жгучий холод. Белый фантастический мир деревьев и белое небо. Искры солнца и тревога в сердце. Каждый стук мне казался стуком в окно. Придет мой маленький друг. Внесет холод и свежесть в комнату, темные звезды глаз; принесет слова о ласке и фантазиях и ласку свою, незабвенную с первых дней катастрофы, вместе с миром погубившей мою душу.

Но она не пришла и не было стука в окно.

Я один. Читал Иллиаду. Золотые мерные греческие строки ясно звенят и плывут, открываются могилы, мысль из звонких строк выводит дворцы, строит разрушенные людьми и веками крепости, покрывает поля битв воинами, тоскует в многошумном море, когда берега потерялись в тумане, плывет в края неведомой земли, любит и тоскует. Единственный мир и другого нет.

А в сердце бьются взволнованные желания, жизнь стоит перед глазами, как обезумевшая химера. О, если бы замкнуться в коралловом дворце за воротами из слоновой кости, и пусть священные каменные драконы охраняют вход от демонов. Пусть магические омеги цветут у окон, дерево смерти и мечты.

Война обесцветила мир, украла краски, все металлы окрасила в серый цвет, как снаряды для разрушения. Я был в полях, покрытых драконовой жатвой смерти. Видел трупы людей, упавших с неба на обгорелых крыльях аэропланов, видел окопы, где люди с зелеными лицами умирали, отравленные газами, оглушенные миллиардами осколков, дробящихся, бьющихся, разлетающихся.

Мир тускнеет с каждым днем безнадежно, беспощадно, утомительно. Наступила внезапная тишина. Тяжелое болезненное чувство охватило все народы. Или никогда не кончится война, или мирный договор будет заключен во всеобщем мучительном недоумении. Потом настанут тревожные дни декадентства культуры. Какое мне дело до мира, если он пошел ложными путями войны и патриотизма? Какое мне дело до страны, где я случайно живу? Какое дело до крови, бессмысленной пролитой?

Жизнь, наполненная мировой войной, не стоит жизни. А если жить, то найти в потоках крови тропинку, ведущую к отдаленнейшим в будущем векам, и от них к таинственно волнующемуся неосуществимой человечностью социальному мечтанию. Но только мимо современности 1916 года.

Жизнь—страдание, ничем не оправданное. Они уходят, эти мечты, теоры великолепий, и остаются тусклые ночи, мертвые бессонные

ночи, бесцельные и бесплодные. Медленным неотвратимым движением жизнь отходит к первобытному дикарю.

И снова дремлющая тишина мира надо мною. Глухой одинокий не метафизический, а реальный мертвеющий холод. И я, как в море, бросаюсь в свое одиночество. Какие-то огромные ошибки сделаны, что-то непоправимое замкнулось надо мною.

Моя великолепная жизнь погибает неосуществленной и бледной.

Белый, снежный, нежный мир за окном. Это моя душа вьется снежинками и замерзает в белом тусклом небе. Это я тоскую с ветром в огромном ледяном пространстве.

Холодный, глубокий, печальный сон окутывает меня. Мне больше нечего любить, нечего узнавать, не о чем думать. Мне кажется, что множество белых снежинок—небесное воинство—опустилось на меня и положило на сердце серебрянное покрывало.

Время идет, но во мне оно остановилось. Время дробится на секунды, и каждая секунда неподвижна, как вечность.

Странно, что я должен жить секунды, переживать их, плести сеть бесцельного вымысла, который называется жизнью.

Знаю, что рушится мир. Каждое утро, когда перед моими глазами скользят струйки страха и крови в страницах газет,—я вздрагиваю от огромной беспомощной злобы. Я считаю по пальцам умершие жизни, я определяю число людей, умирающих в бесконечности мирового страдания, я взвешиваю меру их мучений, и она мне кажется невероятно легкой. Они страдают и умирают за то, что не стоит капли крови ребенка. В этот мир вошел ужас войны и вгрызается в него оскаленными зубами.

Как бледен этот конец шестнадцатого года, так бледна моя кровь, бледны мои мысли, бледен сон жизни.

Когда наступает реальное страдание, метафизика патриотизма развевается в ветре. Она недолго грела голодные тела, давала мужество рукам, цепляющимся за винтовки, чтобы убивать, давала силу ненависти и злобы мертвецам войны.

Неужели европейская культура погибла для того, чтобы разрушить чужую культуру и умереть на ее обломках? Императорский Петербург стынет в снегах и стынет во льду Невы тело Распутина. Императорский Петербург мертв и в нем как будто настали последние дни его исторической жизни. Неужели воскреснет византийский мертвец, или и он обречен?

Лицо войны не жаркое — оно холодное, как эта белая безумная зима. Она стынет во вьюгах и огонь ее выстрелов холоден и тих. Она повсюду, и у меня нет сил забыть ее, отвергнуть ее, отказаться от нее, не видеть, не признавать.

Еще не все кончилось, когда разрушена культура. Еще на очереди разрушение жизни. На очереди?—уже совершается. Бросить все книги в огонь, поджечь яркий костер, согреться в нем, и себя самого сжечь. Я не могу дольше жить, и кажется, что из невозможности придет спасительное и избавляющее, что оборвется война гневом и яростью, что жизнь внезапно выпрямится и кончится длительное неудержимое разрушение.

ОТРЫВОК ТРЕТИЙ.

... одиннадцать месяцев я не вписал в эти тетради ни одного слова. Быть может потому, что революция всепокоряюще повела меня за собой, не дает мне ни одного мгновения отдыха, и,—и как все в жизни моей,—ни одной минуты удовлетворения.

Я слишком много пишу для других, чтобы мог писать для себя. Слишком много говорю восставшим, бунтующим, чтобы мог наклониться над собственным сердцем своим и сказать ему нежные слова, им рожденные для мысли и не понятые ею.

Быть может оттого, что настала осень, первая осень революции, и в небе—октябрь, мутный, темный, оставляющий в воспоминании своем ночи, но ни дни.

Чужая жизнь. И пусть я в ней деятельный участник, но моей души в этом нет. Лето промчалось топотом, трепетом, перебоем надежд и сомнений. Лето прошло, пылающее, огневое, в страхе и битве. Странно жить и ждать весилицы. А куда же иначе, если византийского мертвеца приведет с собой Корнилов? Не жаль, и умру, за не свою правду, за магическое слово о революции.

Каждый вечер ухожу в глубину сна с упрямым разочарованием. Когда же, когда, наконец?—ненасытный, неудовлетворенный, тоскующий.

Ночами мне снится огромный город, стоящий с большими домами, с окаменелыми улицами и стеклянными просветами непонятных зданий в тумане, в тревожном обмане, в призраке революции.

В нем грохочет и клубится жизнь, которая завтра оборвется, как крик задушенного человека. Я в этот город пришел, чтобы найти в нем потерянное звено, смыкающее мою жизнь с чем-то, чему во сне нет названия, нет образа.

Так близко: и падают в огнях, в дыму, падают здания, в огненную пыль повергаются здания, и Смерть проходит среди человеческих толп. Так что же? Значит, несколько месяцев, отделяющих меня от белой древней зимы перед революцией, прошли, как сон? И сон обрушился своими каменными громадами.

Быть на митингах, в редакции, и на заседании партийного комитета? В том и заключается смертный ужас этой жизни, что я втянут в водоворот, и никогда уже из него не вырвусь. До смерти, близкой или далекой, до смерти насильственной, неотвратимой в революции.

В революции была рождена моя душа. Я первую революцию пережил, как наивный мальчик—мечтатель, не умея ничего сделать для нее, но весь отданный ее сладкому соблазну, красной сказке. А во вторую революцию—вошел мертвый и страстный...

Я услышал сейчас на улице быстрые, частые, испуганные выстрелы. Это люди стреляют в людей. Вышел. Увидел золотые осколки вянущих листьев и четкое холодное небо. Что же делать? Уйти-ли в тот большой город, что снится каждую ночь, пылающий, падающий? Быть-ли окованным революцией до последнего забвения? Упасть лицом на землю, и умереть своевольной дикой смертью?..

Когда настанет конец, и этот мир опрокинется во мрак и ужас, когда догорят последние звезды революции,—как будем вспоминать эти удивительные дни?

Близко-ли? У дверей-ли уже? Как же объяснить иначе, что сегодня, вместо борьбы и тревоги, я предан своим грустным несвоевременным мыслям.

Сегодня 27 октября 1917 года, день поворотного зодиака революции. Там где-то, в пустом и холодном мраке, совершается еще непонятый никем революционный бой, умирают люди на улицах, но что понимаем в этом мы, современники и участники?

Вокруг медного всадника, выдуманного в своих кошмарах гранитный кровавый город, бьются люди за власть или за смерть. И я замер, омертвел в своем сумеречном одиночестве, как будто глубокая осень мира уже царствует в бесплодной, безрадостной пустыне мятежей.

Подымаются и падают силы, низвергаются и поднимаются люди, разрушен мир, и все же поезд культуры стучит по старым проложенным для него рельсам. Нет исхода. Другие идут в бой, а я, проклятый, повинуюсь и не умею ворваться в железный грохот революции, принять ее, выпить до дна и умереть от сладкой и душевной ее отравы.

Так вот: поворотный час настал. Как, какими взорами я посмотрю на это прошлое, когда оно станет прошлым? Как я вспомню эти трудные неудовлетворяющие дни?

Кажется, выйти на улицу, и в ней нет ничего, кроме сплошного мрака, растворившего в себе, как тени, людей, жизнь, революцию. От начала войны до этого узлового дня истории тянутся печальные записи, нагромождая в себе поток вспененных мыслей, поток войны и революции, крови войны и желчи революции. Кровью и желчью пишет дьявол вымыслы этих дней. Там убивают, а я не могу броситься, чтобы остановить кровь, широкой струей бегущую из ран человечества, или вместе с ними, до конца...

Вчера утром на улице мне сказали: временное правительство свергнуто. Правда? Как будто знал, знал наверное, и нет радости, и нет печали.

В Совете коридоры кипели волной людей, которым казалось, что не их судьбу решает сейчас петербургская улица, а сами они определяют движение мира в орбитах его могучих неотвратимых поворотов. Броневики и орудия ломали мостовую железным грохотом колес. Но час боя еще не настал. Не знаю почему, но в этот момент больше, чем когда бы то ни было, я почувствовал глубокую, бесконечно нежную привязанность к слепой человеческой массе, кружащейся встревоженно здесь внизу, на улицах, как пылинки взметенного вихря.

А ночью я один, в глубине опечаленных мыслей, усталый свидетель новых дней человеческих страстей и безумий.

Кончено, как сон прошли месяцы уныний и очарований, горящей жизни и бешенных взрывов. Отходит в прошлое торжественный кровавый сон. Державная варта. Германские серые когорты. Удушье и отвращение. По улицам, как музыка дикарей, слышен визг флейты, когда проходят тяжелые серые отряды и первобытные всадники империализма на больших конях, наклоняют длинные пыльные копыта.

Жизнь в сумерках. И пусть пылающий дракон с неба льет потоки расплавленного золота, подымаясь по утрам над телами расстрелянных, но тишина, и мрак, и темный холод над сердцем, усталым от невозможной и разбитой борьбы.

Кончено. Снова тяжелый докучный покой, зверино скалящий зубы па мою дерзость. Опять мечанство без завтрашнего дня, не знающее тонкого чувства любви к утопиям. Уравновешенная, внутри тревожная, жизнь оплетает липкими теплыми объятиями.

Дикий размах от анархического великолепного буйства до серой и скучной жестокости гайдамацкой местности.

Моя сумрачная тоска одинокой усталости, и сердца, выкованного, переплавленного, озлобившегося в революции. Куда же ушли

темные массы людей, переполнявшие митинги в слепые дни бесснежной зимы, в хрустальные вечера ранней весны. Растаяли. Улицы пусты. Революция молчит и ждет.

Снова тот же вечер и душный поток вечернего света и женщины в белом, голубом и черном, с лицами усталыми или анемичными, с губами слишком красными, с лицами, слишком тонкими. Офицера в желтых крагах, с двумя перчатками в левой руке. Офицера-добровольцы с большими пашками и невыносимой трехцветной ленточкой на рукаве. Видеть и опускать глаза, чтобы не сорвался звериный крик смертельной ненависти...

Медлительные струи музыкального ритма в пыли и свете неясного шороха голосов. Праздник. Бледный праздник над могилами моих очарований. Нет завтрашнего дня и медлительно плывет усталость. Мы, мертвые, слишком быстро сожгли себя в волнениях слишком бурного года.

Сплошными массами дремлют деревья. Окованная в камень земля дышит и задыхается. Струны льют пронзительные печали звуков, нежная симфония звучащих лучей гасит во мне темные бреды. Ненависть, ненависть к себе, такому, как я есть, печальному и черному, с умом слишком непокорным, с руками слишком горячими. Лежать бы на земле и плакать, плакать над своей отравленной, растоптанной, пыльной жизнью.

Но молчаливая нежность повелительней слов. Чужая, безответная, пронизанная своими волнениями, но странно сближенная волшебным холодным наветом, со мною женщина из дней революции. Нежная камешка холодных плеч и тонкий запах взволнованных солнечных волос. Не надо! Не надо! Не надо так сильно хотеть любви.

Думаю об этом, когда фосфор лунного света скользит медленно по путям моего взгляда на ее плечи, и под тяжелыми веками ее чувствую невидящий, не меня видящий взгляд.

Под Воронежем красная гвардия. Под Воронежем битва и упорная воля сопротивления. Мальчик-студент, мой нежный ученик и мечтатель, ее возлюбленный и умный командир китайских отрядов, ждет ее по ту сторону границы.

Нельзя любить, нельзя целовать, потому что другому, чужому, покорна душа, а тело ее подвластно колдовству моей страсти. Наглухо заперла ворота и сквозь их решетку протянула мне руку. Отдала себя сквозь решетку ворот, упала лицом на железо, распустила волосы, отдала себя соблазну и моим губам. Лицо обезумело, она жадно припадает грудью к моим горячим рукам. Железом отделена от меня. Биться, биться головой о железо, сломить его судорожно сведенными руками, сломить ее тело, выпить на губах томящийся запах невыносимой страсти, сжигающей ее. Но решетка глуха, холодна, неподвижна. И когда больше не было сил, вырвалась из моих рук, стремительной тенью пробежала до ступеней, упала на них и плакала. А я стоял, протягивая руки сквозь железный узор.

Не подойти, не сказать ни слова, быть разделенным и знать никогда. Так надо. Сломить свою дерзкую волю и, как волк следит за своим врагом, так я пристально гляжу на тонкие, нежные пальцы, на золото рассыпанных по камню волос, на плечи, дрожащие от слез, но жадность сломлена, разбита, скована разделяющим нас железом. Ушел. Быстро иду по улицам, и ураганы мыслей волнуют усталый мозг. Больше я ничего не хочу. Плачет дождь и четко стучат его брызги. Маленькое тонкое тело лежит на ступенях под дождем и плачет о нем, далеком, обо мне, близком, о невозможном и далеком.

Отрава жизни и раздавленной борьбы, погасших мятежных влечений и вопль мировой катастрофы, бессильного беспомощного рушения человечества в бездну взрывов и убийств.

Падаю, падаю, и никто не подымет меня, безвольно уроненного в сумрак жизни, в провалы мятежей, в революцию раздавленную, но огромную и бессмертную.

ОТРЫВОК ЧЕТВЕРТЫЙ.

Нежен позолоченный сумрак мыслей. Печаль стоит надо мною. Месяцы воспоминаний. Совсем не был в себе, в очарованном дворце, в театральном зале своего сердца. Теперь возвращаюсь. Возвращаюсь к себе, как к исповедам мертвых людей.

Бесчисленными пересечениями линий переломилась жизнь в сумерках мертвой империи.

Страшно, что не увижу до конца пути революции, огни и дни, взлеты и обрывы.

Из тюрьмы на волю, на милую красную волю. Ночью в тюрьме внезапно гремели замки и сквозь бредящий сон слышал, как выводили людей—к смерти. В душном клоповнике, ожидая расстрела, стал твердым и простым. Когда утром просыпался и не было одного из тех красногвардейцев, с кем делил деревянные грязные полаты, думал: союзом смерти и крови связано мое сердце с этими бездумными смертниками революции.

Крылья смерти прошумели близко, так близко, что стоял, широко раскрыв глаза, опаленные слишком ярким светом предсмертного сознания, но не билось чаще сердце и холодное равнодушие было прощальным плачем. Крылья уныло прозвенели черным полетом надо мною, замерли уходящим шумом за пределами моей жизни, и я опять с собою и для себя.

Голубоглазый день в червонцах, пыльно взлетающих в солнце у подножия деревьев. Июль безумный и могучий, пламенно-рожденный в свете, в огне; в восторге земли. Июль изумрудный и тягостно знойный. Сегодня я люблю жизнь, даже, как она есть, окаймленная траурами смерти. Расплавленный зной целый день над миром, над улицами, над революцией, над моим сердцем. Огненноликий, страстный день. Но я твердо стою на ногах, и не опрокинуть меня ветрам. И кровь во мне пьяная.

Как же не быть пьяным, если исполинская радость открыла глаза над миром? О, этот мир, он стал неузнаваем! Там, где стояли империи, пылают революции. Там, где северный властелин, как первобытный бог-медведь, спал в снегу, обняв мертвую мою родину, там упоительные фантазии восстаний.

И кто поймет, какое глубочайшее освобождение мысли от старого плена принесла культуре „плебейская“ революция? Снова, в водоворотах безумий, уличных битв, яростных уклонов и смерти, моя неопределившаяся или вновь создающаяся жизнь уносит меня.

Как будто ничего не случилось, и было так много. Был и умер великий империализм в моей Германии. Вой и вопль великого восточного крушения и победы новых поколений. Крушение культуры и новое ее рождение.

Все эти дни, и годы, и месяцы можно сжать в один огромный цельный страшный день. Душа умерла... Да, нет ее в эти дни стихийного гнева, страха и новых битв. Я не политик, а романтик, и моя жизнь в революции—быть может, только сон, приснившийся мне в ночь смертельной ненависти к старому человечеству.

Я не знаю, не понимаю жизни, я гляжу на нее сквозь легкое призрачное опынание книг и мыслей.

У меня есть совесть—Зеленая Девочка.

Ночью кончалась конференция. Еще спорили и кричали в горьком табачном дыму. Дружинники хватали винтовки, чтобы бежать в ночь, навстречу выстрелам. Я ходил взад и вперед по комнате, подавленный тяжестью каких-то темных мыслей. Зеленая Девочка сидела на краю стола и следила за мною.

Я ходил взад и вперед, и не стало в сердце ничего, кроме желания уйти во мрак и в холод, в вечность, ничем не озаренную, кроме внезапной могучей тоски.

На другой день Зеленая Девочка сказала мне: „У вас было землистое исхудалое лицо и глаза, обведенные черными кругами. Скажите, вы ночью пошли к женщине?“

Ясновидающему взгляду ее я сказал: „Да“!

Ночь революция и ночь у женщины. Противоречие еретического ума. Я не умею жить ни при каком режиме, даже в эти дни. Я человек, совершенно неофициальный. Этот мир разрушений стал мне дороже и милее всего существующего. Я не в силах теперь собрать осколки своей ежедневной фантастической жизни, но из них можно было бы сложить симфонию мрака и сумеречно-мгновенных огней, мерцающих в потоке моих дней, таких же стремительных, как радость революции.

Я—человек революции, угрюмый и злой, беспредметно взволнованный возгласами и лозунгами, призывами и приказами. Огнецветный плакат надо мною, и на нем рукой недоверчивой судьбы написаны слова о завтрашнем дне. Я не хочу прочесть их, потому что в надписи, быть может, есть короткое слово: смерть.

Какой каприз судьбы сблизил чуждые губы и отравил неверащие души?

Зеленая Девочка думала в своей маленькой комнатке о моих темных и ставших страшными глазах. Сидела на кровати, обняв колени, слушала выстрелы из темноты, а я шел среди теней мятежной ночи.

Я шел через пустой город с неясно сереющей беспумной толпой вооруженных людей. Они стали в засаду вдоль домов, по улице, ведущей к нашему врагу. Никто, кроме нас, не смеет выйти в эту суровую мглу. Слышны далекие выстрелы. Город огромный и печальный, дремлет полуосвещенными окнами своих домов.

Какая неистовая власть мятежа и пожара рушит твердые стены веков? В кармане у меня красная книжка, дающая право жизни и смерти, я—часть этой силы, разрушительной и нежной, я—часть революции, пожирающей жизнь и время. Но это мгновение, как дым, а завтра войдут чужие, свирепые, веселые, поставят меня у края канавы, расстреляют и бросят тело.

О, печальный, о, бледный туман окровавленных дней!

Как сон: большой темный балдахин над диваном. Много пестрых подушек на коврах. Нежный, томный, удушливо-опасный аромат. Золотая пена волос художницы и узкий напудренный профиль, тонкий суровый очерк усталых глаз. На белом листе рисует контуры арлекинов и коломбин из призрачной драмы своего сердца. На ее рисунке, в черно-теплую осеннюю и без тумана сухую ночь арлекин на скользком паркете слов танцует в паутинных перчатках, в одежде из электрического света под музыку—стальной цокот цикад, обняв за талию коломбину, наивную и нежную, как голубка.

Выстрелы бьются в ночь. Ночь решает нашу судьбу. Ворвутся в город ночью, и утром мы уйдем, или расстреляют.

Ночь длинна и темна. Никто не войдет в этот дом. Никто не оторвет меня от глухого темного преступления. Чужое тело и запах чужих губ безумней, мучительней выплывается в мои объятия, в смутный сон волнений и сладких соблазнов. Тяжело дышит взволнованная грудь и нежные овалы на ней впиваются в мои губы, терзают их мучительным поцелуем. Как жестоко упрямы выгибы тела.

На улице выстрелы и глубокая ночь переворота. На улице—медлительный ужас заговора, нападения, глухого убийства, ожесточения и внезапного предательства. Ночь ждет утренних расстрелов и новых знамен. Смятение, мрак, ужас, кровь, мятеж, смерть. Как можно пережить это, не сломив себя в чудовищных противоречиях?

В комнате, пахнувшей шипром и наготой, я распиная себя в жестокости ненужной страсти. Палящая ненасытимая жажда, палящая истома, неукротимая ярость измученного тела.

Вдруг... О, как остановилось сердце! Бешенный стук в двери. Один удар. Смутное движение голосов. Удары настойчивые, громкие. Приклады винтовок колотятся в дверь громко, громче сердца в моей груди. Пришли. Случайно или выследили, но войдут, и зачем мне маузер, зачем чужое тело и завтрашнее утро, если мой конец гремит прикладами за дверью.

Спокойное бессилие застреленного. Разве есть исход? А она, быстрая и скользящая, бросила на меня душные теплые одеяла, закрыла подушками. За стеной, за дверью, в комнате, всюду слышны голоса, тяжелый тревожный топот. Комната переполнилась ночью и отзвуками заговора.

Как быстро ворвались, так же быстро замирают голоса, и ее голос, уверенный, женственный, дерзкий. Я один в темноте, в чужой комнате.

Она возвращается. Зажигает свет. Стоит перед зеркалом. Пудрит бледное узкое лицо. Улыбается своему отражению. Наклоняется ко мне и говорит спокойно и просто: „Как жаль, что эта новелла уже написана Бокаччио“.

Ночь ждет своих приказаний. Ночь темна и упряма. Броневики вступили в битву и топчут улицы глухим грохотом колес. Окна казарм выламывают и льют пулеметный ураган на открытые ворота. Вдоль домов все так же стоят вооруженные. В предрассветных голубых тенях, их лица кажутся постаревшими на десятилетия. И, быть может, правда, десятилетие прошло в эти часы.

Ночь сделала свое дело. В белом бледном свете восходящего солнца возвращаюсь через город. Проклятый, каменный, пыльный, жестокий, зловонный. За голубым окном до утра думает обо мне совесть моя, Зеленая Девочка. И, должно быть, темные круги глубже легли вокруг ее глаз.

Бездомный бродяга в океанах революции, прохожу мимо ее голубого окна и бросаю привычный, знакомый сторожевой свист.

Знаю, услышит, подымет белокурую голову, вслушается, но не шевельнется. Боль остро кольнет ее сердце в душевной рассветной комнате и опять угаснет в тяжелом полусне.

Когда солнце войдет в комнату, я засну. Ночь была слишком невыносимой и мысли слишком странными, чтобы я мог уснуть верным тихим сном здесь в цейхгаузе, где пахнет шинелями, солдатским хлебом и кожей. В печальном изнеможении от всего ночного, отжугучих потоков необузданной дикости, я—не засыпаю—угасаю. Качаясь и колеблясь, сон подымает и несет, подымает и нежит, колдует и томит, прерывается мыслями и закутывает их в смутный хаос образов. Медленно колеблются далекие тени. Медленно подходит ко мне та,

неугаданная, сероглазая, которая держала когда-то на своих коленях мою отрубленную голову. Яркие залы во сне, блуждающие призраки, неясные безликие люди, сады в стеблях высоких колючих роз, неподвижное солнце в небе, льющее расплавленное золото. Опять со мною страшный глубокий сумрак, красная бесконечная стена, запрокинутое лицо и звериная, неудержимая, удвоенная, в двоих повторенная, единая страсть, до обморока, до мучительного ожога губ поцелуев, губ смертельных укусов.

Все это было и никогда не вернется. Все ближе страшные голоса. Ослепительный великолепный дождь оналовых изумрудовых брызг и неисчерпаемая прелесть бегущих мимо мгновений.

Жизнь в потоках крови и огня. Жизнь в смятении перебоев и взрывов революции. Волнами подымается и падает ярость митинга. Стою и чувствую свой голос, поднятый на крыльях мгновения. Выше, выше, взлетая, несусь, едва думая о своих словах: только стоны и ропот ярости говорят, что слова могут жалить, ранить и убивать. И я люблю жизнь, даже эту, озаренную пожарами, пересеченную переворотами, неустойчивую, клокочущую, увенчанную радугами пулеметной стрельбы.

Сон качает, и нежит и уносит высоко в мир невозвратимых невозможных очертаний людей и призраков.

Дополнительные замечания. После этого отрывка записки становятся менее отчетливыми и часто неинтересными, потому что в них рассказывается о других сторонах жизни автора заметок. Расположение отрывков следующее: первый написан после 1914 года, но под сильным впечатлением начала мировой войны. Второй относится к самому концу 1916 года. Третий, как это видно из случайно приведенных в тексте дат, связан с Октябрьской революцией 1917 года. Четвертый отрывок, как это можно легко установить, расположен вокруг июля 1918 года и имеет местом действия какой-то южный город, где происходили бурные события, очевидно, восстание против гетманской власти. Революция перебрасывает автора записок в другую местность. Идут отрывочные фрагменты мыслей, часто не вполне ясные в общей связи, но существенные для понимания кризиса интеллигенции в революции.

(В. Р.)

ФРАГМЕНТ ПЕРВЫЙ.

Год прошел... Вот он предо мною, тысячелетний, удивительный год. В весенние дни было пьяно и весело, хотелось весь день быть на улице и впивать новые слова, манящие призраки человеческих культур, всех народов, в военной одежде брошенных революцией в этот город и бьющихся за бесцельное обладание им. Воздух, нежный воздух весны, голубая радость и наивная прелесть теплых вечеров, сладких акаций над морем, когда я, одинокий человек толпы, сразу ставший никому ни для чего не нужным, никем неугаданный заговорщик против всех основ общества, теряюсь в массе, опасный и молчаливый созерцатель странных дней.

Год миновал. Вот он, край могил, обрызганных кровью, рождающих в душе исполинскую мрачную радость, мучительный восторг и желание собственной последней смерти, чтобы никто не увидел меня, когда сомкнутся отуманенные глаза, когда тяжелые сапоги сломают мне грудь и розовая пена выступит на губах, это—я...

О, необычайный сон кануна умирания, сон которому не будет предела, от которого душа стареет на тысячи лет, и буду помнить о нем до последнего хрипа раздавленной груди. Все ускользает из рук, все мгновенно, все мимо, все неуловимо, страшно, сладостно, и открываются просторы, и кружится голова, и не будет исхода в сияющие солнцем поля коммунизма, потому что раньше погибну, умолкну, и

будет смерть венчать меня последними цветами, увядшей сухой и жаркой акацией, последней любовью.

Мой милый, мой единственный друг, сероглазая, северная спутница! Разве без тебя придется замкнуть круг печальной повести моих неверных дней? Невозвратная радость предутренних, дореволюционных томлений, самых прекрасных дней старой жизни, летних вечеров и увядающих наивных французских роз.

Но, слушайте. Я был в большом расстрелянном, ограбленном опустошенном доме. Проводник сказал лозунг. Высокий сумрачный человек в кожаной куртке впустил нас. Рядом с ним пес, большой, подозрительный, уверенный. В передней опрокинуты решетки, раньше увитые цветами, и умирают растения, раздавленные в борьбе. В больших комнатах опрокинуты кресла, разбиты стекла, и воздух—душный, тяжелый, пропитанный запахом старого тепла, махоркой и кровью.

Здесь убивали, и на скатерти большого стола—красные пятна. Вино, кровь?—кто знает?

Разбросаны, изломаны мне ненужные и неценные дорогие вещи. Среди хаоса и ярости никто не заметил одной вещи. Но разве это вещь?—Маленькая, бронзовая, покрытая темнозеленой паутиной двух тысячелетий. Тонкие руки перетянуты красной проволокой. Она никому ненужна. Легко изогнувши фигурку она оправляет сандалий на ноге и глядит на меня узкими глазами, улыбаясь бронзовой улыбкой.

О, милая! Так, в этой позе видел тебя, живую, светлую, под ослепительным солнцем мастер. Это было в четвертом веке до Рожд. Хр. Я узнаю по прическе. Он создал тебя из бронзы и ты была жива в своем вечном оцепенении, в живой неподвижности священной статуи Афродиты. Века спустя, раньше, чем гунны бросили твоё тело в тигль, на сплав, на медную монету, на чеканку своих боевых шлемов, римский набожный ремесленник продавал твои маленькие копии—иконы влюбленным девушкам. Они молились тебе и тобою колдовали возлюбленных.

Ты—никому ненужна. В пепле прожила тысячелетия и вышла из темноты земной, в одежде плесени и забвения. Тебя никто не увидел в разрушении и кровавой схватке. Но я вижу тебя и люблю. Ты—живая связь времен. Когда, скоро, во всеобщем пожаре, кровь моя брызнет у ног твоих, как кровь жертвенная убитых здесь людей, ты так же улыбнешься мне неживой холодной лаской бронзы. И через тысячелетия, погребенная в пепле новых веков, восстанешь вновь и улыбнешься такому же человеку, как я, когда он полюбит тебя, как я, в хаосе времен, в пожаре империй, в лучах слишком долго восходящего и застывшего на краях онемевшего горизонта солнца моей социальной утопии.

ФРАГМЕНТ ВТОРОЙ.

С красными и зелеными значками проходят мимо окна веселые и буйные люди новых армий. Веселые и буйные проходят новые дни мимо моей жизни. Гудят и звенят каменным грохотом медленные пятнистые танки; свирепые, как стальные ядовитые жабы. Прыгают по мостовой, приседая и корчась, отвратительные коварные пулеметы. С вечера до утра перекачивались далекими громами орудия.

Шесть месяцев прошло. Это были месяцы унижений и восторгов, открытий и потерь, сомнений и безразличной томительной лени. Как будто ничего не случилось, а было так неизмеримо много. Больше, чем может вместить в себя человеческое сердце.

По вечерам моя печальная лампадка горит над книгой. В десять часов встречаемся за столом и говорим о жизни, о большевиках, о книгах. Потом все ложатся спать, а мой свет горит возле книги, возле вихря моих смутных мыслей.

Так день за днем. Потом будет новое. И весь я стану иной.

Как же понять полугодие сумрака и мечты? Крым дней революции, окровавленный, у берегов моря, где стояли броненосцы, сошедшие с ума железные великаны, разбрызгавшие пену и кровь через весь мир, у моря, еще багрового от пролитой в него крови; я тоскую на золотом пляже, и облака надо мною, как мои белые уносящиеся крылья. Здесь с железных бортов бросали в море людей и они стояли на дне, обросшие травой, стеклянея мертвыми глазами сквозь прозрачную тихую воду. Здесь обливали машинным маслом и сжигали живые факелы в топках. Здесь до сих пор пленники в каменоломнях под плетью дробят камни и умирают. Здесь скакали люди на лошадях в горы, догоняя бегущих и убивая. Это Крым современный, с немцами и англичанами, с кадетскими профессорами, с кровью восстаний, с пожарами взрывающихся складов, с пленным великим князем в Дюль-Бере, с зелеными бандами в горах, с гостинницами, парходами, с азартной игрой на деньги и на революцию.

Но ведь был же Крым иной, пушкинский, тогда еще в пустых берегах, удивительный, неясный, романтический. Всю ночь, сквозь визги скрипок и цыганок внизу, мне снился скрытый вуалью современности пушкинский Крым.

От старого царского дворца опускаются зеленые ущелья к морю. Ведут аллеи старых кипарисов в закругленные лабиринты мечтательных путей в неизвестность, в красоту и никуда. Жестким красным плащом увиты камни. Красные осенние виноградники ждут жатвы и снежного марева.

Около трех кипарисов полукруглая скамья из зеленого мрамора. Мы двое, бродяга революции и случайная спутница его, мимолетная женщина с розовой улыбкой и темным сердцем, сидели на этой скамье. Запах пенных брызг бросало осеннее море через своды деревьев и медленным далеким грохотом волн на камнях томило бездомные наши сердца.

Старая, как ветхий пушкинский Крым, как моя тоска, ушедшая в века, звенела песенка, старинный романс.

Прочь, прочь, ни слова,
Не буди, что было.
Не меня—другого
В жизни ты любила.

Черный свиток траурного неба развернулся и тенью покрыл море. Ведь, правда, что жизнь моя разбита словами романса о том, что любимая мною не меня,—другого в жизни своей любила.

Свой народ спасая,
Полон тайной муки,
Он стоял, рыдая,
И сжимал мне руки.

Это она отвечает на глухой перебой моего утомленного сердца. Это она отзвучала и ушла в прошлое, сероглазая, северная.

Чужая женщина близко-близко ко мне. Утро взывает белые лучи над Крымом современным; утонет в отошедшем сне пушкинский милый Крым. Не открывая глаз, почувствую у губ своих чужие губы и буду покорен обаянием и слишком томной жадности большого знойного тела, удушливого и нежного.

Снова вечер и лампада над книгой, снова вихрь мыслей в темноту неугаданного будущего освобожденной земли.

В этот мертвый мир врывается зовущая старая песня обездоленной ночной души. Смерть приходит ко мне, зовет, стучит в двери, но к смерти не отпускают теплые объятия чужой слишком нежной женщины. Смерть требует ответа от данницы своей, от моей опечаленной души. Что могу я, что отдам ей, с чем приду к ее повелительным взорам?

Нет пафоса смерти, как нет воли к жизни. И опять возвращаются дни, и опять кружится солнце на золотых своих осях и звезды, падая в неизвестность, чертят в мире свои ослепительные дороги. Для всего есть пути, а я не знаю их. Как лист в огне, иссохла, истомилась, смялась душа. Отчего же случилось, что нет в мире голоса ясней, звончей и печальней голоса этой чужой и слишком любящей женщины? Нет глаз глубже и закатней, нет часа более сладкого, чем тишина злой ночи беглеца революции? Темные солнца в моих небесах кружат алые пути, взлетают и распадаются дерзкие мысли, разбиваются пеной белой, жемчужной, бесцельной, ненужной.

Разве не все пути пройдены в невозвратимых невозможных потускневших желаниях? И разве вечно из земли и темноты будет рождаться, умирать, возрождаться тысячу раз раздавленная и неукротимая революция. И разве дано ей неотвратимо победить, увлекая в себе мою жизнь? И снова назначено пить горькое вино, томиться в душевных сладостных объятиях чужой женщины и глядеть в чужое небо. И все злее ночь, все звонче голоса и все настойчивей упрямая бунтарская мысль: уйти, умереть, не быть совсем или выйти, непокорному, на новый путь.

ФРАГМЕНТ ТРЕТИЙ.

Мой ум, развившийся под впечатлением великих народных бедствий, с самого момента своего совершеннолетия и сознательности привык видеть убийство и насилия; поэтому он создал философию жизни суровую, пессимистическую. Его не трогали идеалы и мечты, он никогда не верил ничему идеальному.

Этот сумрачный ум сложился в десятилетие между крушением революции 1905 года и крушением европейской культуры в 1914 г. Он вошел в революцию и был изломан ею, ломая ее события и кладя на них печать своей холодной страстности.

Мой ум воспринял в себя огромный идейный размах героизма двух революций и пережил, надломленный и освидрепавший, глубокое позорное падение интеллигенции в промежуточные между двумя революциями годы.

Медленно вращаясь в кругу собственных противоречий, мой ум всегда стоял перед вечным и небъятным: дробясь иронией, смехом, насмешкой, мой ум тяготел к серьезному, важному, страдальческому, человеческому. Он подчинился в юные годы всемогущему влиянию марксизма настолько, что сильно и глубоко воспринял чувственный мир, отвергая все нематериальное. Я не знаю потусторонних миров, никогда не испытывал на себе их дыхания.

Он во всем, мой непокорный и дерзкий друг, мой сумрачный ум, находил полярности, примиряя их в исторической воле неизбежных и непременных смен противоположностей. Тревожный и высокомерный, он часто отчаивался в себе, падал на дно ненависти и лицемерия. И каждый раз революция снова бросала его навстречу еще не вставшим из тумана векам, слишком радостным, чтобы можно было хотя на мгновение отвернуться от них. Любя свой мир, он всегда стоял перед ним, находя в критике и сомнении, в смене диалектиче-

ских противоречий больше залогов правды, чем в доверии и идеализме. Он любил только вечное и наслаждался только мимолетным, мгновенным.

И если мой ум не преодолел противоречий, если я разбит на камнях потоком революции, то это потому, что проклятое клеймо интеллигентности никогда не в состоянии мне вернуть динамическую устойчивость рабочей мысли. И разве я виноват, что родился в злой некультурной родине, серой будничной, безвольно распластавшейся в своих крестьянских равнинах вялым стомиллионным телом?

Мой ум—чувственный. Он чувствует запахи материи, из которой построен мир, мозг и искусство. Действительность он хочет узнать только для того, чтобы из нее сделать отвлеченные выводы. Однако, он никогда не был в состоянии подняться за пределы действительности. И не хотел этого...

Вместе с тем, мой ум—неустанный настойчивый стилизатор. Он старается вдохнуть в себя стиль каждого века, почувствовать неуловимую дымку печалей, очарований, настроений скорби, окутывающих все действительно могучее и прекрасное. И так же стилизует он свою современность и каждый момент собственной жизни. Он более жадно глотает новое, чем женщина одевает свежее платье, но всегда становится в противоречие с этим новым, потому что знает его тайные заблуждения, презирает их насмешкой, чаще всего несправедливой, более грубой, чем злой. Его ирония не порхает в воздухе, а падает куском свинца, упрямая и настойчивая. Отвергая все, как частное, он принимал все, как состав мирового целого, испытывал непреодолимую потребность в мирозерцании, в цельном и стройном синтезе взглядов, из которых каждый вытекает из единой общей идеи, являясь на самом деле только отражением мира вещей и энергий.

Этот ум взяла себе революция, выпила его, сжала своим исплинским прессом, как виноградарь осенью давит виноград, и из миллионов других умов, в которые моя мысль вмешана, как часть, дала миру острое и пьяное вино, которому мой ум придает тайную горечь, обольстительную и соблазнительную. И, в конце концов, чувствуя в себе свой ум, я думаю, что он принадлежит не мне, а создан все той же слепой и мастерской рукой дважды прошедшей сквозь мою жизнь революции. И я в ней—только тень невозможного нового дня.

Этот последний фрагмент, опыт самохарактеристики, выбран мною из случайных заметок, образующих собой последнюю часть тетрадки, переданной мне красноармейцами. Больше в записках нет ничего интересного, если только вообще можно считать сколько-нибудь интересной эту исповедь интеллигента. Во всяком случае, хотя искаженно и часто уродливо, но психология современности здесь отражается, и эти отрывки могут послужить материалом для понимания и оценки судьбы интеллигенции в революции.

Как это видно из отрывков и фрагментов, автор заметок совершенно не умел правильно передавать события и записывал только впечатления. Отсюда—крайняя неясность и неопределенность изображения фактов, часто раздражающая при чтении записок. Впрочем, едва ли жизнь человека, записавшего свои впечатления, могла быть сколько-нибудь стройной и последовательной. Она повидимому, находилась в прямой зависимости от событий революции и менялась вместе с ними.

Не так легко определить политические симпатии автора записок, хотя он сам называет себя марксистом и считает деятельным участником революции. Повидимому, это был человек стихийного увлечения революцией, пережившей ее очень напряженно, но неспособный прочно увлечься в рамках определенной партии. Во всем остальном, едва ли есть необходимость более подробного изучения этих психологических отрывков и фрагментов.

Валентин Рожицын.

АПРЕЛЬСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ.

I.

Важнейшей чертой апрельского отступления 1920 г. на польском фронте является наша психологическая неподготовленность к нему, дорого стоившая нам.

Апрельское наступление Польши было для многих работников армии, партии и Советской власти в значительной степени неожиданным. Центр нашего внимания был перенесен на восстановление разрушенного хозяйства. Несколько армий, справившихся с боевыми задачами, переводились на трудовой фронт. На Западном фронте происходили лишь мелкие стычки местного значения. Никто из политического и военного командования не придавал им значения.

За два-три месяца до наступления польская пресса начала обрабатывать общественное мнение, не показывая, однако виду, что готовится нападение на Украину. Польское правительство, при помощи авантюристов европейской дипломатии, разыгрывало роль миротворцев. В нотах своих, в специальных воззваниях, в газетах и листовках для армии всюду говорилось о миролюбивых шагах Пилсудского. Заметки из дневника, отдельные газеты, литература и периодическая пресса за это время с несомненностью убеждают, что подготовка польской кампании происходила в мировом масштабе. Международная печать этого периода полна примирительного тона к Советской России. После угрожающего заявления лорда Черчила о походе 14 государств и уничтожения Деникина и Врангеля, дипломатия круто повернула в другую сторону дипломатический рычаг. Газеты в один голос говорили об отсутствии у Западной Европы враждебных мыслей по отношению к Советской власти. В эти месяцы Англия и целый ряд мелких держав, впервые заговорили с представителями Советской власти, что было еще одним лишним шагом к подготовке предательского удара. К этому периоду относится ультимативное предложение Пилсудского начать мирные переговоры в г. Борисове. Наша дипломатия своевременно вскрыла сущность польского предложения и отказалась вести переговоры в Борисове. Предложение о переговорах имело вдвойне провокационную цель: во первых связать нам руки, вырвав инициативу, во вторых показать польским рабочим и мелкой буржуазии, что правительство Пилсудского предлагает мир. На наш отказ вести переговоры в Борисове паны ответили наступлением по всему фронту. Массы не были к нему подготовлены у нас в достаточной степени. Командование безусловно знало, что Пилсудский готовится к нападению, но не сосредоточило своевременно военных сил против поляков. На Съезде Советов в 1920 году тов. Ленин в речи о политическом моменте сказал, что „Польша сама

не знает, что будет завтра делать". Прогноз был правилен, но повидимому, мы не ожидали стремительного наступления, не готовились отразить удар, который мог обрушиться в любой день.

Фронтная полоса, которая должна чутко отражать настроение страны, переживала то же. Беспартийные красноармейские конференции, проводившиеся в бригадах и дивизиях, на расстоянии 10—15 верст от линии фронта, были заняты на три четверти вопросами хозяйственного строительства в связи с переходом на трудовой фронт. Характер массовой агитации сводился к тому, что красноармеец на трудовом фронте должен проявить тот же героизм, что и на боевом, и не выпускать винтовки из рук, приступить к восстановлению хозяйства. Красноармейские части с большим подъемом участвовали на воскресниках, в погрузке дров, укреплении мостов и т. д. Это в прифронтной полосе, где противник тщательно следил за каждым шагом армии. Не военное обучение, а школа грамоты, „Трудовой фронт“ занимали красноармейцев. Пресса в прифронтной полосе почти целиком отражала такие настроения, и не указывала на грозную опасность, которая готовилась в нескольких шагах от нас. Партийная жизнь ярко рисует настроение того момента.

За 2-3 недели до начала польского наступления в Житомир приезжает член Реввоенсовета 12 армии тов. Муралов. На общепартийном собрании он призывал одеть и снабдить Красную армию и совершенно не говорил о грозной опасности, перед которой мы уже стояли. За 3 недели наступления решили созвать Губернскую Партийную Конференцию. Повестка дня конференции на пять шестых состояла из вопросов хозяйственного строительства. На заседаниях Губкома большую часть времени занимали вопросы кооперации, Совнархоза, полиграфической промышленности, образования Губисполкома вместо Ревкома и т. д. За неделю до наступления начались выборы в местный совет. За несколько дней до наступления на обширном собрании, где присутствовало свыше 600 учителей, один из видных лидеров меньшевиков выступал с упреком что коммунистическая партия, несмотря на миролюбивую политику Польши готовится к красным империалистическим походам. Помню меньшевика г. В., который с пеной у рта доказывал учительству прелести „демократических свобод“. Его спросили в ответной полемической речи, что если Польша завтра выступит, где он окажется и с кем пойдет? Жизнь ответила на вопрос. Он остался по ту сторону и стал издавать газету с клеветническими выпадами против большевиков; газета просуществовала несколько дней.

Губернская партийная конференция собралась за два дня до оставления Житомира. Настроение конференции, на которой участвовало много военных делегатов, показывало, что никто не думает о возможности войны с Польшей. Даже в ночь когда поляки перешли в наступление, конференция заседала до 8 часов вечера, уверенная, что тревоги преувеличены. В 6 часов вечера в день наступления, начали чтение доклада о кооперации. „Над городом же беспрерывно летали аэропланы, производя разведку. Ни президиум, ни сама конференция не обращали никакого внимания на возрастающую тревогу в городе. Военные части затребовали делегатов—военных коммунистов с конференции, а конференция продолжала заседать, уверенная, что случилась простая заминка, замешательство и никакого наступления поляков нет. Некоторые предложили прервать заседание и выяснить в штабе положение. Это было истолковано конференцией, как шкурничество и боязнь. Решили заседание продолжать до выборов партийного комитета. Последний номер нашей газеты, выпущенный

накануне отступления, дышал миром и уверенностью, что никакой опасности не грозит.

Такое же настроение было у населения, рабочих и красноармейцев. Жизнь города протекала нормально до полуночи. Только с 10-11 часов ночи началась тревога, когда стали спешно формировать отряды для отправления на передовую линию. Партийная конференция мобилизовала себя и партийную организацию. Начались спешные приготовления к отпору.

II.

Наши части после уничтожения Деникина и Семенова, были измучены непрерывным пребыванием на фронте. На польской границе они, оставаясь без пополнений, несли тяжелую службу охраны Республик. Бригады расположенные на десятки и сотни верст, сильно потрепанные в походах против Деникина, были растянуты на сотни верст. За 1-2 месяца до войны обычным явлением на участке нашего фронта была охрана одним красноармейцем от 2 до 3 верст.

58 дивизия, например укомплектованная на Юге большим количеством рабочих и коммунистов, совершившая ряд переходов, была настолько малочисленна, что полки иногда насчитывали по несколько десятков штыков. Зато каждый красноармеец такого полка не уступал в доблести своему командиру. Например, численность стоявшей под Житомиром (позиции были в 60—70 верстах от него) дивизии к апрелю была ничтожна. Некоторые бригады насчитывали две-три сотни штыков. Несколько десятков героев держали участок фронта, против противника превосходившего их в 20—30 раз. Бывали случаи, когда десяток таких красноармейцев гнал роту противников. До апрельского наступления легионеры в стычках старались захватывать в плен отдельных красноармейцев, но операции редко удавались. Красноармейцы живыми не сдавались и каждая такая попытка обходилась легионерам дорого. Славой пользовался полк численностью в 50—60 штыков под командою тов. Карпенко. Польское командование назначило награду за доставку красноармейца этого полка, но полк Карпенко считался неуловимым. Беспрерывное пребывание на фронте, усталость, недоедание, иногда бессменные дежурства по двое и трое суток не сломили духа красноармейцев. Они не требовали отпуска, а просили лишь отдыха и пополнений. Настроение полка Карпенко характерно для всех наших частей по всей линии польского фронта. Командный состав полков состоял из выдвинувшихся рядовых красноармейцев. Командиры умели вместе с красноармейцами переживать все невзгоды, сидеть в окопах, быть в цепи, наступать на противника первыми и уходить последними при отступлении. Политическая работа велась усиленным темпом. Лучшие труппы, агитаторы, инструктора, пропагандисты, попадали в первые ряды дивизии. Клубы, с читальнями и библиотеками, находились на расстоянии 2-3 верст от передовой линии. Красноармеец, уходя на отдых, попадал в клуб, где книга, газета, рояль, гармония и агитатор занимали его.

Мы настолько не готовились к войне, что за несколько дней до наступления, лучшую бригаду с фронта перевели на длительное формирование в тыл. О планах и приготовлениях противника наша разведка мало знала. Когда выяснилось, что противник наступает, связь по всему фронту оказалась прерванной и ориентироваться стало трудней. К ночи в город доносилась уже перестрелка. Наступление принимало серьезные размеры. Лихорадочная деятельность кипела вокруг штаба дивизии. К эвакуации гражданские и воен-

ные ведомства приготовились в несколько часов, мобилизовав гужевые средства. Кавалерийская бригада, сменившая пехоту за несколько дней до отступления, была малочисленна и слаба, и на передовой линии фронта почти не оставалось пехоты. Части 58-й дивизии расположенные недалеко от фронта, в несколько часов приготовили и послали на помощь отступавшим кавалерийским частям пехоту и наскоро сколоченные Отряды Особого Назначения из коммунистов и красноармейцев. 22 апреля к 8 часам город Житомир преобразился. К штабу с революционными песнями подходили отряды. Над городом низко кружились польские аэропланы, производя разведку. Улицы заполняла любопытствующая публика, но паники не наблюдалось. Учреждения Штаба до рассвета оставались в городе, и чуть не попали в руки противника. С приближением сумерок, движение в городе увеличилось и закипела работа по формированию отрядов, в центре которых находились Политотдел и Штаб. За 2 часа все наличные силы были собраны, и работники политотдела выстроились в колонны и направились по назначению.

Ночь была сухая и темная. Небо темно-голубое и без звезд. Изредка поднимался слабый ветер. Темные улицы города прорезывали лишь лучи холодного света, падающие из окон высоких домов, балконы и галереи которых были заполнены обывателями. Впереди отрядов—школа Политруков, состоящая в большинстве из коммунистов. Как будто по уговору, все одновременно затягивают Интернационал. Поют громко, напрягая силу голоса, поют с гордостью, чтобы рассеять темноту вокруг. Красноармейцы ночью рассказывали, как на улицах и в квартирах их спрашивали что происходит? Все отвечали: Опасности нет; Будьте спокойны, не уходим“...

III.

Сколоченные наскоро, наши отряды состояли из 300—350 человек сотрудников штаба, отдельных воинских команд, и коммунистов из разных учреждений. Хотя в боевом отношении отряды представляли ничтожную силу, но они играли важную роль для обороны подступов к городу. Основным ядром этих частей была школа политруков из 80—90 человек. Отряды направились в разные стороны для охраны мостов и шоссе, оставив город за полночь. Длинное шоссе, соединяющее предместье с городом, в темноте шумело и скрипело сотнями подвод и лошадей. Тыловые обозы частей дотанулись до города. Отдельные кавалеристы, охраняющие обоз, лениво и сонно двигались рядом с ним. Стало ясно, что части отступают, и надо задержать противника. Кавалеристы встретили нас веселыми возгласами: „Пехота туда и нужна“.

С наступлением ночи становилось сыро и прохладно. Отдаленная артиллерийская канонада нарушала спокойствие. Никто не знал размера наступления и сил противника, но все пренебрежительно относились к мысли о возможности нашего поражения и даже временной неудачи, так как красноармейцы, комиссары и командиры считали противника слабым и ничтожным. Такое убеждение, безусловно, сильно отразилось на всем отступлении и на действиях командования. Мы остановились за полверсты до моста, соединявшего предместье с городом. До утра оставалось еще несколько часов. На возвышенном месте над мостом мы выбрали маленький крестьянский домик, для сторожевого охранения выслали заставу к длинному мосту предместья города и в темной крестьянской избе, освещенной сальной свечей, растянулись на полу. Многие до утра не смыкали глаз, стараясь

охватить происходящие события. Один из политруков полез в карман за записной книжкой и что-то стал быстро записывать. Думали молча, думали, как много и долго предстоит испытывать напор противника и почему так неожиданно началось наступление. Начался обмен мнений: все утверждали, что поляки слабы, польская армия не велика и потерпит суровое поражение.

Ночь протекла спокойно. Заставы производили разведку и на расстоянии ближайших верст не обнаружили противника. Наступило утро. Внизу у горы лежал большой овраг, с левой стороны тянулась густая роща, похожая на лес.

Мост охраняли несколько человек при 2-х пулеметах. С раннего рассвета усилилась артиллерийская канонада, снаряды разрывались ближе и ближе. На правом фланге закипела ружейная стрельба. Стреляли залпами. На расстоянии версты виднелась последняя из действующих впереди групп, отступавшая влево. Последние остатки полковых обозов медленно тянулись по шоссе. Улица, прилегавшая к мосту, не омертвела. Ребятишки, не потерявшие веселости даже во время канонады, цеплялись за повозки. Действовавшая впереди нас рота вынуждена была отступить, и оставалось дать последний бой за Житомир.

Школа политруков заняла окопы на горе вдоль и поперек моста, вырытые еще во время австрийской кампании, не законченные, но в них можно было свободно и хорошо расположиться. Среди курсантов оказались участники империалистической войны, передававшие эпизоды прошлых кампаний. Показалась цепь поляков. Впереди долины пронесся по шоссе легковой автомобиль с красным знаменем. Это подняло настроение бойцов. Все громко приветствовали проехавшего начальника. Никто не допускал мысли, что через час город очутится в руках шляхты. Когда противник подошел на расстояние 300 шагов от окопов, сотни пуль свистали над головой, бомбометы метали клочки сверкающего пламени. Среди лежащих в окопах курсантов и красноармейцев выделялась фигура командира тов. Курдюкова. Смелый, отважный боец, он участвовал в десятках сражений и, сохраняя хладнокровие в самых отчаянных положениях, часто спасал жизнь вверенных ему красноармейцев. Теперь он расхаживал по окопам и насмешливо указывая на перебегающих легионеров, призывал уничтожить их.

Противник обошел наш правый фланг, занял вокзал и часть города. Действовавшая против нас группа имела целью лишь отвлечь внимание, чтобы захватить все отряды, защищавшие подступы к городу. Вследствие разрыва связи, командиры поздно поняли план противника. Нас окружили со всех сторон и противник стал обстреливать пулеметами наш тыл вдоль окопов. Мы отошли к городу, занятому частью противником. Нас оставалось около 150 человек, державших до часу дня город. Патроны были истрачены, многие остались без винтовок. Нужно было пройти мимо центральной улицы, обогнуть город, взять штыковой атакой мост, захваченный противником, чтобы прорваться к Киевскому шоссе, единственной дороге для отступления. На окраинах города, в рабочих домах, мы сделали передышку в 10—15 минут. Рабочие советовали многим остаться, предлагая спрятаться, потому что при отступлении гибель неизбежна. Некоторые товарищи, забыв опасность, стали митинговать. Группа затаила „Интернационал“, но по приказу прекратила пение. Рабочие выслались из квартиры на улицу и провожали нас с уверенностью, что мы встретимся через несколько дней. Свернув на Пушкинскую улицу мы натолкнулись

на автомобиль, груженный вещами и продуктами. Оборванные, голодные красноармейцы бросились хватать вещи. Потом выяснилось, что автомобиль был поставлен с провокационной целью, и через минуту из окна угольного дома открыли сильный пулеметный огонь. В 2-3 минуты всех перекошили-бы, но своевременный энергичный призыв командного и комиссарского состава и высокая сознательность красноармейцев спасли положение. Рассыпавшись, мы начали обстреливать дом, откуда показался пулеметный огонь. Покончив с ним, оставалось взять мост через реку Тетерев. Река Тетерев протекала в долине. Мы стояли над горой, усеянной до низу острыми колючими камнями, на узкой площадке. Орудий не оставалось. Противник держит мост и переправы. Положение безвыходное. Спасения, казалось, нет; пойти на мост—значит быть перекошенными, отправиться через переправы каждому в отдельности—погибнуть. Впереди пулеметы, а позади город, занятый противником, дома с пулеметами и улицы, кишачие белогвардейцами. Враг в 5—10 раз сильнее нас. Ни патронов, ни бомб, нет у нас. Каждая минута дорога. Противник может нагрянуть и всех перерезать. Оставалось 2-3 минуты на размышление. Решились идти на пролом и голыми руками взять мост, обставленный пулеметами. Выросла и укрепилась одна мысль, одно желание—спастись и вынести знамя. Охваченный нечеловеческим порывом, осыпaeмый градом пуль, катаясь и падая по острым камням, отряд стал спускаться к реке. Камни резали ноги, руки и тело. Никакой опоры, никакого прикрытия под убийственным обстрелом. Нужно по оврагу обогнуть версту, отыскать место для перехода вброд и взобраться на вторую гору. Экипажи и подводы пустились вниз по камням и разбились в щепки. Многие покатались, едва удерживая равновесие. По одиночке, пробираясь длинной цепью падающих комков, мы пробрались к реке. В шинелях, в сапогах и шапках, по пояс в воде, с пулеметами на плечах, стали медленно, по сильному течению реки Тетерев, пробираться вброд. Тысячи пуль дождем падали кругом и много товарищей погибло в воде под убийственным огнем. Тяжело раненные вытаскивались из реки и при напряжении всех сил подымались вверх. Многие сбрасывали сапоги и шинели, и босиком поднимались на другую сторону крутого берега. Ни один красноармеец не отстал, не остался на стороне противника. После перехода через реку, оставалось на расстоянии 3-х верст пройти по открытому полю под огнем противника, чтобы скрыться в ближайшем лесу. Противник лежал в 300—400 шагах. Почти во весь рост, мокрые, без единого выстрела, пустились по полю. Пусть погибнет три четверти, но не сдадимся, пока остается надежда пойти вперед. Добравшись сквозь огонь до лесу, задыхаясь от усталости, бросились на опушку леса. Здесь всем стало понятно, что дивизия разбита и связь между частями потеряна. Лесные тропинки усеяны ветками и колючими сухими шишками. Ступать голыми ногами больно, у многих ноги покрылись кровавыми ранами и опухли. С нами было несколько тяжело раненых. Отряд остался с одним испорченным пулеметом, без орудий, без обоза, патронов и довольствия. Главное, поражаало спокойствие тяжело раненых в живот и в голову товарищей. Тяжелы были не страдания, а отступление, виновниками которого все, как будто, мысленно считали себя. Один красноармеец метко выразил свои переживания. На вопрос крестьянина, куда мы идем, он сказал. „Прогорлохванили, как вы, пану землю отдали; теперь узнайте, какой пан и чья земля“.

Красноармейцы полагали, что нас побили, потому что 58 дивизию сняли на отдых в ближайший тыл и сменили кавалеристами.

Многие доказывали, что сил у панов нет, только отряды конницы выступают с флангов и наводят панику, а их побить легко. Нужны только небольшие подкрепления, и тогда операцию легко выполнить. Всякого, кто пробовал доказывать, что с поляками нужно серьезно считаться, не только красноармейцы, но и командиры с комиссарами, считали трусом. Трусостью считалось даже предположение, что поляки по силам равны нам. Командный и комиссарский состав были под влиянием этой воли к победе в Красной армии и, считая не серьезной угрозой технически более сильного врага, поддерживали и внедряли в сознание широких масс глубокую и сильную уверенность в непобедимость.

IV.

Штаб с отделами оставил Житомир на рассвете. Вывести из города почти ничего не удалось, хотя штаб держался до последней минуты, не теряя надежды на спасение положения. К часу дня было отдано распоряжение отрядам выдвинуться вперед на шесть верст, т.е. ко второй и третьей линии окопов. Подготовленным ударом поляки захватили одновременно Бердичев, Коростень и Житомир. Эшелоны с ранеными, погруженные на Бердичев и Коростень, попали в руки противника. Мобилизованные коммунисты ночью оставались в штабе, и за отсутствием оружия не отправлялись на фронт. Их послали охранять менее важные позиции. Мобилизованные пришли в штаб, ничего не захватив с собою. На рассвете одна польская группа, перерезав вокзал, отправилась глубоко в обход города и коммунисты без винтовок, собранные со всех концов, оказались отрезанными. Все дороги находились в руках противника. Измученные бессонной ночью, с револьверами в руках, иные с берданками и обрезами винтовок, решили прорваться на шоссе. Отряд поляков с несколькими кавалеристами перегородивал впереди дорогу. Без опытных руководителей, без оружия следовало его обойти. До 120 человек без оружия, направились против легионеров, удерживая линию отступления, с расчетом убежать под пулями противника. Положение оказалось безвыходным. Отряд рассыпался длинной цепью вдоль дороги во всю ширину, и на расстоянии 700-800 шагов, с громким криком „ура“, бросился вперед. Легионеры сразу растерялись, но скоро пришли в себя и стали обстреливать бегущую цепь. Цепь бежала с протянутыми вперед руками. Меткий прицел сразил многих из этих героев, пожертвовавших для спасения других, которые успели тем временем скрыться за ложину в деревушке. Нужно было видеть атаку безоружных людей, с призывом „вперед“. Страдания отступавших не кончились. Деревня, которой они достигли, оказалась под влиянием кулаков, успевших прикончить с двумя попавшими туда красноармейцами. Своевременным и грозным ультиматумом удалось обуздать кулаческие и петлюровские элементы. Петлюровцы, объезжая деревни, организовали отряды из кулаков, чтобы тревожить Красную армию в момент ее неожиданного отступления, и армии, кроме ударов сильного организованного противника, пришлось подвергнуться попыткам дезорганизации ее рядов со стороны бандитских шайк.

V.

Удар поляков на Коростень развернулся на Малин, где стоял штаб соседней дивизии. Наступление поляков оказалось и здесь неожиданным, но боевой дух частей оказался на неизмеримой высоте. Дивизия, расположенная в Малине, оказалась целиком отрезанной и

окруженной четырьмя польскими дивизиями. Кольцо польских частей тесно смыкалось, и оставался радиус действия лишь в несколько верст. Потеря дня угрожала полной гибелью и деморализацией частей. Поляки, повидимому, уверенные, что они целиком возьмут дивизию со штабом и с обозами, не торопились с операцией. Опираясь на энтузиазм частей, командование собрало в кулак все силы, чтобы прорвать кольцо. Ожесточенный бой длился несколько часов. Связь противника прервалась, резервы не подоспели. В итоге боя, два полка попали к нам в плен. Каждый красноармеец проявил максимум отваги и храбрости. Наши красноармейцы быстро переоделись в захваченное обмундирование и, продолжая отступление части в польском обмундировании, чуть не попали под обстрел своих. Эта блестящая победа при отступлении показала полякам, что нас взять не легко. Они рассчитывали мелкими ударами без потерь взять Киев. Но из-под Малина, после крупной победы, уже началось наше регулярное отступление и образовался сплошной фронт. Почему отрезанная со всех сторон часть без вооружения против противника, превосходившего ее в несколько раз, одержала победу? Военной технике, умелому командованию приписать этого нельзя. Огромную роль сыграл фактор, о котором речь шла выше.

VI.

Отступившая из под Житомира группа имела два выхода: отправиться на юг и выйти на 60 верст вверх по течению Днепра, т. е. совершить круг в несколько сот верст, или бродить ощупью вокруг Житомира, придерживаясь радиуса в 20-30 верст, чтобы соединиться с другими отступающими отрядами. В обоих случаях предстоялиходы по кулацким деревням, полным бандитами. Район изобилует лесами, наполненными бандами. Без довольствия, одежды и вооружения долго нельзя было держаться. Потеряв связь со всеми частями, мы стали самостоятельно действующим отрядом и решили придерживаться более тяжелого пути, т. е. не отходить от Житомира, в надежде связаться с частями. После нескольких дней, действительно удалось встретиться с нашими отступающими частями.

Продовольствия не было, но красноармейцы не унывали. Первая остановка в маленькой деревушке из 50-60 дворов накормила почти всех. На вопросы, почему в некоторых избах отказывают, крестьяне объяснили, что там живут кулаки и богатеи. При отступлении заметно было, как расслоилась украинская деревня. Бедняки, отчасти середняки, были целиком на нашей стороне. Красноармейцы быстро отыскивали в деревне „своего человека“, который накормит и согреет. Война, как таковая, несет беспокойство и разорение крестьянину. Но если приглядеться внимательно к деревне, легко видеть, что деревенская беднота понимала необходимость воевать и поддерживала нас. Беднота боялась поднять голову, сказать слово, но в сотнях изб во время стоянок, в беседах с крестьянами, слышался стон по поводу наступления поляков. Старики крестьяне помнили панов по собственной спине. Крестьянская беднота, с отступлением Красной армии сразу почувствовала косые взгляды и пинки кулаков, услышала угрозы расправиться за захваченную землю. Когда Житомир остался в 20 верстах от нас, на горизонте появились клубы дыма и показались в нескольких местах красные языки; то пылали украинские деревни.

К вечеру мы расположились на ночевку в деревне и разместились по крестьянским избушкам. На окраинах выставили дозоры. Красноармейцы рассказывали о событиях дня, переходе через Тетерев, о пожарах, о розгах. Завязывались разговоры с крестьянами, задавали

вопросы о панах, о коммуне и т. д. Даже несловохотливые из красноармейцев в таких случаях охотно рассказывали, шеголяя своим пониманием событий. Когда мы собрались в дорогу, рано утром много крестьян со вздохами провожало нас. Мы посеяли семя, взбороздили почву и отступали дальше. Все, о чем мы ночью говорили, с быстротою молнии передавалось деревням на 20-40 верст кругом.

Несколько дней мы бродили по болотистым местам, по узким лесным тропинкам, заброшенным хуторам, прежде чем напали на следы и соединились с другими отрядами. Проходили хутора и деревни, стоящие посреди лесов, где крестьяне со времени революции только раз или два видели агитаторов. Отряд тоже откололся при отступлении, и также бродил вокруг Житомира в поисках разбитых частей. В ту же ночь нашему объединенному отряду в 300 штыков приказано было занять позиции. Красноармейцы не успели выспаться и передохнуть. В полночь по деревне пронесся призыв рожка. В избах зашевелились, и высыпали на улицу. Ночь холодная; дрожа всем телом, мы направились по шоссе. Нужно было пройти 15 верст, обогнуть болотистую поляну и занять ближайшую деревню. Раскладывать костры было опасно. Пробираясь по болотистому полю, к которому прилипали сапоги и голые ноги красноармейцев, шеренга по одиночке подошла к деревне часам к семи утра. Деревня высыпала на улицу и подозрительно осматривала. Здоровые рослые парни с дубинами в руках, опираясь на забор, иронически посмеиваясь, смотрели прямо в глаза всем проходившим. Это была богатейшая деревня уезда с многочисленным кулацким населением, скрывавшая дезертиров и не подчинявшаяся приказам о мобилизации. Все видели сытых, обеспеченных кулаков, не дававших сыновей в Красную армию, выступавших против Советской власти. Отряду давали понимать на каждом шагу, что его не боятся, а только терпят. Задавали иронические вопросы, и легко было ожидать нападения или обстрела с тыла. Однако решили расположиться в деревне и выслали на окраины дозоры. Но противник обходил со всех сторон и часто показывался в неожиданном месте. Не успели расположиться, чтобы отдохнуть после бессонных ночей и длинных переходов, как на расстоянии нескольких сот шагов послышались выстрелы и орудийная канонада. Противник наступал превосходящими нас во много раз силами. Спокойствие каждого бойца помогло собраться на окраине деревни и развернутой цепью отступать с поля, чтобы не дать обогнуть фланг противнику.

Отступление проходило под натиском, главным образом, кавалерийских частей. Пехота польская шла за кавалерией и мало приходила в соприкосновение с нашими частями; мы отступали развернутой цепью на расстоянии нескольких верст.

Добравшись до ближайшей деревни, решили не сдавать ее без боя, хотя все валились с ног от усталости. Не успел отряд разместиться, как с правого фланга показался большой кавалерийский отряд противника с пулеметами на расстоянии 1000 шагов. Разбросанный по разным концам деревни, отряд не успел собраться с боем. Оставалось небольшому отряду в 100 человек прорваться с боем. До ближайшего леса было несколько верст. Кавалеристы старались обогнуть деревню, окружить нас и отрезать отступление. Главная беда была в отсутствии патронов, стрелять приходилось осторожно, сохраняя каждую пулю. Отряд рассыпался в цепь, и на расстоянии 3—4 верст принялся отступать по открытому полю, отстреливаясь от противника, не осмелившегося приблизиться больше, чем на 200 шагов. Над нами летали 2 аэроплана, разбрасывая бомбы, наводя панику пулемет-

ным обстрелом сверху. Летчики летали так низко, что их легко можно было разглядеть. Задержка на несколько минут грозила новым окружением другой группой польской кавалерии. Без паники, шаг за шагом, отступал отряд, нанося поражение наступающим кавалеристам. Наше спокойствие поколебало быстро мчавшуюся кавалерию, которая повернула обратно. Подходя к лесу, который стоял перед нами густой стеной, красноармейцы от радости запели „интернационал“.

На одной из остановок встретила группа польских пленных с офицером во главе. Усталые красноармейцы проходили мимо и грызли черный хлеб. Окружая пленных, красноармейцы задают вопросы и поляки на непонятном языке отвечают. Некоторые протягивают дорогой табак пленному поляку. Один отламывает ломоть хлеба и хочет поделиться с пленным—австрийцем (галицийский поляк). Пленные удивлялись. Они рассказывали, как их пугали, что большевики расстреливают и зверски обращаются. Один из пленных даже заплакал. Здесь росла братская солидарность, крепились тысячи нитей между нашими и польскими частями.

В апрельской кампании поляки учли много ценного из опыта нашей борьбы. В польских полевых штабах наряду с оперативным управлением работали и политические отделы. Фронт забрасывался русской и украинской литературой. Десятки воззваний перебрасывали в окопы. Польские части тщательно обрабатываются прежде чем отправляться в бой, для и военных частей издаются специальные газеты. Нужно отдать справедливость, в изобретении разных форм агитации поляки ни в чем не уступают нам, начиная с книжек папиросной бумаги, кончая газетами и листовками и плакатами. Они иногда захватывали группу красноармейцев, нагружали их белогвардейской литературой, чтобы те ее разносили по украинским деревням. Каждый день мы читали в польских газетах, что целые дивизии со штабами уничтожены. Такие газеты служили лучшей агитационной литературой для Красной Армии. Они перечитывались вслух в полках и красноармейцы видели, как много лжи сознательно передается врагами.

У нас политическая работа не прекращалась и не ослабевала нигде в походе, была ключем на каждой стоянке, в каждой деревне, где останавливалась красноармейская часть. Дивизии научились на колесах перевозить типографии, печатать газеты и листовки, реагировать на настроение частей. За 30 верст до Киева наши части выравнились по всему фронту, отступление шло уже планомерно. Полякам приходилось подтягивать силы и артиллерию и давать бой за каждый участок земли. Как только появились первые свежие подкрепления, наскоро сколоченные в Киеве, настроение частей еще больше приподнялось. Киев защищался до последней возможности. Штаб оставался до последнего момента. Давать лишний бой за Киев командование считало лишним. Вночь, когда нам приходилось оставлять город по Бибиковскому бульвару, в доме начальника гарнизона командование осталось до рассвета, когда на окраинах уже были польские разведки. Много трудов и усилий по обороне Киева и поддержки противника до последнего момента положили тогда тов. Муралов и Звездов. На рассвете, когда польская разведка вступала в город, наши части медленно переходили на левый берег Днепра. Город ни на секунду не переставал жить нормальной жизнью. Ночью, накануне он, спокойно оставался под охраной красных частей, на следующее же утро проснулся под польским владычеством.

М. Рафаил.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СРЕДИ РАБОЧИХ И СОЦИАЛИСТОВ

(1896—1921 год).

(Воспоминания рядового рабочего).

ГЛАВА I.

Почему, не знаю, но мне с детства хотелось быть рабочим, и непременно слесарем. Когда я окончил начальную школу, и отец предложил поступить в городскую и продолжать образование, я наотрез отказался, заявив, что хочу быть только рабочим.

Мы жили в Туле, по соседству с крупной самоварной фабрикой Баташева. Будучи уличным мальчишкой, я каждый день летом видел, как вечером грязные, словно черти, рабочие, точно сорвавшись с цепи, выбегали из ворот фабрики и с гиком, свистом, прибаутками и руганью, сломя голову неслись по улице.

Испуганные прохожие шарахались в сторону, жались к стене или забегали в чужой двор. Всем непохожим на рабочих, и конным и пешим, пощады не было. Рабочие высмеивали и мужчин и женщин. Больше всего попадало малярам, плотникам и кто шел в „гаврилке“, т.е. в сорочке.

— Эй, стрекулист! Чернильная душа! Чиновник трясуемого департамента! Смотри, смотри, ребята, без порток, а в шляпе. У-у-у, тю-мать! Га-га-га, неслось по всей улице.

Женщин руками не трогали, а поровнявшись, быстро нагибались, точно хотели схватить за подол или, наклонив к ее лицу свою грязную морду, чмокали губами, как бы целуя.

— У-у, охальники, черти грязные!—отбежав в сторону кричали женщины.

— Эй, Маша, пассажирка! Что, испугалась?

Все гоготали, мальчишки швыряли камнями, улюлюкали.

Прилично одетых барыnek не трогали, а поровнявшись нарочно кто-нибудь из рабочих, как рванет, аж на другой стороне слышно.

— Го-го-го!—заржут рабочие.

Но стоило только повстречаться артели плотников, улица превращалась в настоящее словесное сражение.

— Стой, ребята, гуси летят!

— Эй, лютые!

— Дядя, портки с вертушкой, рубаха на костылях.

— Ей, Ванька! присядь, чижи летят.

Иногда дело доходило, до драки, и надо было видеть, как эти худые, грязные рабочие били здоровенных плотников.

— Ну, что дяди, как вознази лютые?—говорили они после драки, поднимая с полу фуражки.

Мне, как ребенку, видевшему это, нравились рабочие своей бесшабашной дерзостью и тем, что их все боялись.

— Я хочу быть таким же,—думалось мне.

Отец, сам бывший базарным барышником, но часто сталкивавшийся с рабочими, не прекословил.

По его мнению, быть рабочим, это значило иметь вечный кусок хлеба. Господ он ненавидел, хотя сам крепостным не был.

И вот, на тринадцатом году жизни, меня отдали в ученики на 2 года на небольшую, но старинную самоварную фабрику Ванькина.

Первым моим мастером был, так называемый сборщик, Алешка Грязнов. Это была ничем не замечательная личность, если не считать умения пьянствовать.

Высокого роста, худошавый, жилистый как заезженный вол, он редко с кем был в дружбе, пил в одиночку и работал не больше трех дней в неделю.

Меня он взял в ученики не для того, чтобы извлечь пользу и выучить меня работе, а потому, что я был сыном торговца, который с его точки зрения, всегда мог дать на похмелье.

Потом он каждый понедельник приходил к нам в дом под предлогом поделиться с родными о моих успехах. Ему ставили бутылку водки, пару огурцов, и он целыми часами просиживал у нас, рассказывая о своем мастерстве и какой он хороший мастер.

— Бывало, иду по улице, говорил он, а хозяева увидят меня и кричат: эй, Алеша, зайди-ка чайку попить.

— Нет, говорю, некогда. Гонялись за мной. Твоего сына я выведу в люди. Сашка, смотри, брат, слушай дядю, мастером будешь.

— Уж вы пожалуйте, Алексей Гермагеныч, доведите до дела,—просила моя мать.

— Уж ежели не будет слушаться, так и всыпать можно. Не стесняйтесь,—вставлял отец.

Но шли недели, месяцы, прошел год и я у Алешки выучился всего на всего таскать самовары, раздувать горн и чистить пемзой. Чувствую, что у него не научусь работе, некогда ему учить меня. Пропьянствует он три дня, а я хожу по мастерской, как овца без пастуха. А тут еще мастера стали посмеиваться надо мной.

— Эх, малый, жалко нам тебя. Пропадешь ты.

— У него должно быть мать то не родная, вот она и отдала его к такому мастеру.

— Знамо, не родная. Да разе родная отдаст в самоварики. Здесь пропадешь. Каторга. Беги парень отсюда. Беги, пока не поздно. Видишь, наша жизнь какая: день цветом—неделю вянем.

Это был намек на то, что один день только имели деньги и гуляли, а целую неделю жили в долг и работали, как каторжные.

Все это преподносилось мне в виде насмешек, но в них, незаметно для самих говоривших, было много горькой истины.

Я часто убегал в уборную и горько плакал.

Наконец, не выдержал, обругал своего мастера пьяницей и перешел к другому мастеру, Петьке Носу.

Этот пил не меньше Грязнова, но, пьяный, старался быть в мастерской. Он вел дело сам четверт и работал как никто.

В те поры работали на фабрике без ограничения времени. Кто как хотел.

Работали так: с часу ночи до семи утра, с семи до восьми пили чай в трактире, в двенадцать шли обедать и с двух до семи вечера работали не отрываясь.

Исключением были два дня в неделе: суббота и понедельник.

В субботу, к десяти часам утра, рабочие еле держались на ногах от усталости. В мастерской не было уже слышно ни смеха, ни шуток, ни разговора. Все были точно прибиты к тискам и угрюмо „гнали“,—спешили доделывать работу, чтобы идти в контору подсчитываться. Никому не хотелось кончить свою работу после других, ибо отставший задерживал получку и подвергался насмешкам.

— Что, дурной, пропьянствовал, а теперь „наводить“ вздумал?

К двум часам дня в мастерской было уже выметено, вычищено и прибрано. Отделавшие свою работу рабочие сидели на верстаках и подсчитывали в уме кто сколько заработал, сколько придется получить и кто кому сколько должен. У каждого за неделю скопилось много долгов.

И в такую торжественную минуту, когда все в мастерской было чисто, тихо и даже горел у иконы лампадный, отставшему работать уже не хотелось, да и руки отваливались.

Отставали обычно те, кто больше всех прогуливал.

К числу таких принадлежал и мой первый мастер Алешка Грязнов. В понедельник он всегда был пьян, во вторник—с похмелья, в среду разламывался, а уже с четверга гнал так, что успевал навести прогуленного.

Такого сорта рабочие были обычно очень спорные и зарабатывали часто не меньше тех, кто работал всю неделю. Но зато они всегда были у всех в долгу; они были в кабале у хозяина, у булочника, у кабатчика.

В те поры на маленьких фабриках не было расчетных книжек. И хозяин, и рабочие держали все на памяти, или записывали на стене мелком.

В субботу, рабочий начинал ломать голову, кому, что надо заплатить и сколько с хозяина получить.

По подсчету всегда выходило, что рубля два домой попадет. А как хозяин начнет подсчитывать, еще из дома надо рубля три приносить.

Такие рабочие в субботу же напивались в долг пьяными и, идя по улице, пели:

„Я с хозяином расчелся, ничего мне не пришлось“.

Пили от усталости, пили от досады, что за всю неделю работы не пришлось ничего получить, пили от стыда, что не с чем идти домой к жене и детишкам.

Пили все, и старые, и молодые и даже ученики—дети, которым подносили мастера стаканчик, как наивысшее отличие за работу. Кабак или трактир в субботу вечером погружался в сплошное пьянство. Пили, блевали, ругались, дрались, попадали в участок или засыпали в канавах.

В понедельник приходили на фабрику опухшие, подбитые, со страшной головной болью и без копейки денег.

— Ну, как? с тоской в голосе, спрашивали друг—у друга.

— И не говори, брат, голова трещит, аж треснуть хочет.

На работу руки не налегали. Подойдут, подойдут мастера к тискам или станку, посмотрят на работу и опять пошел по мастерской шататься.

Сойдутся человек пять вместе, поговорят, посмеются друг над другом, а в голове у всех только одна мысль: где бы достать на похмелье?..

В понедельник не работали даже те, кто совсем и не был с похмелья.

Это были преимущественно „сухие пьяницы“—игроки в карты и „лютые“, т. е. чижинные и голубинные охотники.

„Лютые“ были благообразны, степенны и выглядели мягче остальных рабочих. Видимо, птица их облагораживала. Но во время охоты они становились действительно лютыми. Стоило кому-нибудь помешать охоте, они беспощадно били шесгом, будь то жена, ребенок или друг дома.

Разсказывали, что один лютый охотник ехал с невестой из-под венца. Около дома летал чужой голубь. Как бомба, выскочил молодой из пролетки и в венчальном сюртуке прямо на голубятню. Выгнал голубей. Пугнул. Чужой вшибся в его артель и стал садиться.

Уже совсем сел, было. В это время молодая как крикнет:

— Вася, милый, брось ты хоть сегодня то заниматься охотой!

Голубь испугался и не сел.

Лютый задрожал весь, да как хватит „питушкой“ в молодую, так она на другой день богу душу отдала...

Лютые иногда тоже прогуливали, но никогда не были с похмелья.

По понедельникам они не работали из солидарности.

Да нельзя им было работать, если кто и хотел.

То и дело подходили похмельщики и, зная, что у лютых редко не бывает в кармане денег,—просили на похмелье.

Рабочих, которые, вопреки всему миру, хотели работать с понедельника, забрасывали грязными тряпками, привинчивали в тиски чучело, вымазывали верстак грязью или подходили к ним вплотную и говорили:

— Что, вам больше всех надо что ли, дьяволы?

— Не тронь, не тронь его,—пусть работает: у него жена и дети, сам скотина.

Поэтому в понедельник был простой на всей фабрике.

За час до обеда уходили опохмеляться, после обеда большинство уже было пьяно, во вторник опять опохмелялись и раскачивались, и только в среду к вечеру начинали работать полным ходом, поговаривая, что завтра надо „приветать“, т. е. прийти на работу пораньше. Бывало, чуть брезжит утро, еще на улицах не улегся шум вчерашнего дня, а Петька Нос уже будит учеников.

— Вставай, ребята, скорее, проспали!

Еще только два часа ночи, а фабрика гудела. Работали все, как сумасшедшие. Никто не хотел отстать от другого: если один делал два предмета, другой норовил три, тот подтягивался и т. д. Происходила настоящая рабочая скачка.

— Рви, ребята, рви!—неслось по верстакам.

— Прогуляли—наведем.

Даже дети—ученики заражались этой спешкой и, напрягая свои маленькие силенки, старались не отстать от взрослых. А тут еще подзадоривание мастеров.

— Ай-да Сашка!—Молодец! Он три обрусил, а Петька два. Эх ты, увалень!

Петька чуть не плакал.

— Дяденька, да ты посмотри, как он брусит—с черновинами.

— Сашка, смотри, делай лучше!

В особенности умел выжимать все соки из учеников Петька Нос: он действовал демократически.

Сдаст бывало, в четверг вечером первую партию работы, а потом начнет с учениками советоваться.

— Так вот, ребята! отделаем еще сорок штук или нет? Как отделаем, так и шабашить.

— Дяденька, не успеем, много очень.

— Ну-у, не успеем! Привстанем немного. Зато отделаемся, и в баню.

— И больше набирать не будешь?—наивно спрашивают ученики, готовые согласиться.

— Да что я вам черти, врать буду?

— Ну, ладно, набирай,

И вот ученики, чтобы пораньше в субботу отделаться, начинают спешить от себя. Работа так и кипит. В четверг сами решают придти на следующий день раньше всех. К вечеру работа готова.

Ученики сконфужены. Петька Нос улыбается.

— Так как же, ребята, придется еще немного набрать, на чаевые.

Ученики не возражают, ибо в пятницу шабашить нельзя, а тут еще мастер на чай обещает дать.

— Бери еще, говорят они.

И дяденька набирает работы столько, что для отделки этого количества, мы вставали в субботу в час ночи и без обеда работали до двух дня.

Отделав работу, рабочие несли ее в палатку и сдавали; причем сдавать старались „самому“,—хозяину. „Сам“ принимал легче, чем приказчик.

— Уж ежели что плохо, так скажет. „Плохо!“—а за хорошую работу отметит.

Хороших мастеров хозяева уважали, а посему все старались работать на совесть. Но если хозяин замечал, что какой-нибудь мастер обманывает его и сдает работу плохой выработки, он безбоязненно приходил прямо в мастерскую и при всех начинал ругать, а, случалось, давал по морде.

И никто не протестовал; это считалось за обыкновение. Мастера обвиняли рабочие в неумелости дела, а грубые выходы хозяина рассматривали с точки зрения семейных неудач.

— Не ублаготворила, знать, сегодня благоверная,—вот он и не в духе.

Если кто из рабочих хотел взять у хозяина вперед или на похмелье, то предварительно справлялись у кухарки или горничной о состоянии „духа“ у „самой“.

— Как сама-то сегодня в духе, что-ли?

И если „сама“ была в хорошем состоянии, рабочий знал: что ни проси у хозяина, не откажет.

— Ты только работай у меня,—скажет бывало „сам“ и даст на хату.

Бывали случаи, когда хозяева, будучи в духе, останавливали рабочих на улице.

— Эй, Нос, остановись-ка.

— А,-а-а! Ивану Архипычу. Наше вам. С праздничком.

— Здорово! Где работаешь-то?

— Да где же больше, все у Шмеля.

— Доволен? Не жмет?

— Пошто? Мы народ не претензевый.
 — Приходи ко мне работать.
 — Не могу, Иван Архипыч.
 — Пошто так? В петле что-ли?
 — Есть малость!
 — Сколько?
 — Пятьдесят.
 — Приходи в понедельник, это дам. Ты, кажется, сам—четверт работаешь?

Рабочих, работавших сам—пят, сам—четверт хозяева уважали. Гуляба этих мастеров—хозяйчиков была не страшна хозяину; они гуляли, а подручные и ученики работали. Никакое похмелье не освобождало их от работы и ни один мастер не имел права сказать им, чтобы они гуляли.

Правда, работа без мастера была слабее, все же продолжалась без перерыва всю неделю.

Это хозяин знал и учитывал.

ГЛАВА II.

У Петьки Носа я проработал год в ученьи и год подручным, при чем половину срока на фабрике, и остальное время у него дома. Разонравился ему закон рабочего мира: в понедельник гуляй, а с четверга приходи с часу.

— То ли дело дома работать,—говорил он, когда захотел, тогда встал, когда захотел,—тогда и кончил работу. Никто не указ, сам себе хозяин.

Да и учеников моложе пятнадцати лет не разрешали брать на фабрику.

Помню, как однажды вбежал в мастерскую испуганный приказчик и, чуть не давясь словами, крикнул:

— Слушай, вы, черти! Прячь своих ребят поскорее, чиновник пришел.

И мы, малыши, совершенно не понимая в чем дело, не меньше приказчика перепуганные, шарахнулись, кто под верстак, кто под станок, кто на чердак.

Подошло время, когда где-то стали думать о защите детского труда.

Это не нравилось хозяевам, но и мастерам тоже. В одни руки мастер зарабатывал тогда 40—60 к. в день, с учениками—1 р. 20 к.—1 р. 50.

А что стоило мастеру прокормить ученика?—гривенник в день...

Петька Нос это учел, и мы с фабрики перешли работать домой. О выгоде хозяина говорить не приходится. Он выгадывал вдвойне: расширял производство за счет помещения мастера и увеличивал число рабочих.

Жил Петька Нос около самого кладбища и занимал старенькую хатенку. Одну комнату он сдавал нищему, хромому николаевскому солдату, а в другой и кухне жили он сам, жена, шестеро детишек и три ученика.

Тут же в комнате поставили верстак, прибили тиски и начали работать: сам, ученики и только что окончивший двухкласную школу сынишка.

Работать стали не только на маленькие фабрички, но и на такую, как Баташева.

Петька Нос вошел в азарт, гулял меньше, и уже если бывало загуляет, то просит „тетеньку“, т. е. жену, и сынишку подтягивать нас, учеников и подручных. Я в это время получал у него гривенник в день, работать умел все, и когда, бывало, Нос загуляет, возьмешь и уйдешь домой на час раньше. „Тетенька“ сейчас на дыбы: „Не смей!“ На утро „дяденька“ начинает ругаться и однажды, когда я „тетеньку“ послал к чорту, он хотел меня ударить.

Но, видимо, три года, проведенные мною среди рабочих, безосознательно вложили в меня чувство необходимости защищать себя от хозяйского гнета.

Как я ни был мал, но, схватив напильник, размахнулся на мастера.

— Не тронь! Я тоже мастер...

Нос опешил. Тетенька стала визжать, детишки бросились, было, драться.

После этого инцидента Нос положил мне четвертак в день, и я проработал у него до события, которое на всю жизнь врезалось мне в память.

Это было великим постом, недели за две до Пасхи. Четверо детей Петьки Носа и один ученик заболели оспой. Все тело, голова, лицо были усыпаны крупными водянистыми горошинками. Местами язвы сливались, образуя сплошной нарыв. Лежали, как чурки, на полу, в грязных лохмотьях тут же, где мы, здоровые, работали медные части. Летящая медная пыль садилась на детские оспенные ранки, которые начинали еще сильнее чесаться. Грязные ручки царапали больное тело. От боли дети ворочались и жесткие лохмотья окрашивались гноем. Больные горели и им давали холодную воду грязными-прегрязными руками. Их пищей оставался хлеб и картошка. Они стонали и плакали, но никто не обращал внимания. На дворе праздник, мы все были заняты отделкой работы. Стук молотков, визг напильников и отвратительное громоуханье воронила заглушали стон ребятешек. Никому даже и в мысль не приходило отправить больных в больницу или пригласить врача.

— Ничего, отлежится,—говорил Нос.—Эта оспа, слава богу, хорошая,—крупная.

На страстной, в среду утром, у одного больного, семилетнего Ванюшки, любимца мастера, болезнь осложнилась нарывом в горле. За день нарыв созрел и прорвался, но так, что все тело ребенка залилось гноем, а потом хлынула кровь. Взрослые перепугались. Ребенок умирал. Нашли где-то огарок свечки и зажгли. Мать одной рукой держала головку умирающего, другой—свечу.

Мы не останавливались, спешили, спешили скорей отделать работу и отвезти на фабрику,—среда была последним днем.

Нос даже слова не проронил и только нахмурился. Жена причитала, дети плакали, а мы, усталые, грязные, мокрые от пота, торопились.

После похорон Петька Нос так напился, что чуть не сошел с ума. Он поставил на дворе три кола, покрыл их рогожей, стал в этом шатре на колени и на чем свет стоит стал ругать свою семью, обвиняя ее в смерти сына.

— Довольно!—кричал он,—больше я с вами жить не хочу, я буду жить с Ваней.

Смерть сына потрясла его настолько сильно, что он спьяну заблудился и три дня пропадал. Нашли его сторожа на кладбище, куда, по словам Носа, завел его чорт.

Будучи сильно верующим человеком, Петька Нос сильно любил носить во время крестных ходов хоругви и впоследствии я его знал, как члена союза хоругвеносцев, бывшего у нас в 1905 году.

От Петьки Носа я ушел на фабрику. Мне хотелось попасть на самую лучшую, к Баташеву, у которого над воротами был большой орел и из под которых в определенные часы тучей вылетали рабочие, так понравившиеся мне в раннем детстве.

И вот, я, мальчик-мастер, пришел наниматься. Рабочие принимались на фабрику не хозяином, а управляющим или его помощником.

Я попал к последнему.

Стою в конторе. Кланяюсь. Кашляю, чтобы заметили. Слово произнести робею. В такой большой конторе я был первый раз; народу уйма: конторщики, приемщики, приказчики, рабочие; сначала не знаешь, к кому и обратиться.

Заметили.

— Тебе что тут надо?

— Я хочу у вас поработать.

— Что-о-о?

— Наняться хочу к вам, я мастер-слесарь.

— Вот так гусь. Да ты и верстака-то не достанешь.

Бывшие в конторе рабочие засмеялись и стали меня оглядывать.

— От земли три вершка, а в земле не видно.

Я был небольшого роста и, видимо, не внушал доверия. Но такое отношение и слово „гусь“ меня задело. В ребенке просыпался заправский и обиженный рабочий.

— Возьмите—говорю,—работать, тогда узнаете. Я ученик Петьки Носа.

Петьку здесь знали.

— А-а, так? ну, хорошо. Отведите его в мастерскую!—резко бросил помощник управляющего.

Я обрадовался. Эта фабрика была образцовой. Рабочих работало пятьсот человек. Корпуса были двух-этажные, большие, красивые. Мастерские светлые, чистые, с электрическим освещением. Работали по гудку: с семи утра до двенадцати дня и с половины второго до половины восьмого вечера.

Дети-ученики моложе пятнадцати лет ходили в фабричную школу. Раньше положенного срока нельзя было ни прийти, ни уйти. Ворота запирались на замок. По мастерским, в больших рамах за стеклом, висели „внутренние распорядки“. За прогул штрафовали.

Меня поместили в нижнем этаже. Увидев мою фигурку, рабочие стали переглядываться и посмеиваться. Я был в синей блузе, брюки на выпуск и в фуражке с ясным козырьком. Самоварные рабочие одевались по своему: крытый козырек фуражки, ситцевая рубаха, и фартук и штаны в подбор.

— Вот студент какой появился!—стали они говорить друг-другу, намекая на мою внешность.—Ему бы стрекулистом быть, а он на фабрику пришел.—Слушай, дядя, ты женат или нет?

Я краснел, конфузился, но отмалчивался и делал свое дело, поправлял тиски, ящик для инструмента и потом пошел в контору за работой.

Вот тут то я сам, рабочие и приказчики убедились, что я уже не мальчик, а просто рабочий.

Рабочие страшно не любили фабричных приказчиков, конторщиков и т. д. Их труд они считали не трудом, а так себе, баловством.

— Твою-то работу всякий дурак сделает, если его выучить, а вот попробуй какой-нибудь умник в нашу шкуру влезть, тогда узнаешь,—говорили рабочие приказчикам с глазу на глаз.

Когда я вернулся в контору и стал просить дать мне работы, назвавший меня „гусем“ помощник спросил:

— Ты что умеешь делать?

Говорю:—Все...

— Дайте этому гусю десять пар ручек,—бросил он приказчикам.

Работа эта была простая, тяжелая и такая по расценке дешевая, что как бы ни работать, больше сорока копеек в день не выработать.

Приказчики бросились отпускать мне ручки, а я, зная, что на этой работе ничего не заработаю, кричу:

— Господин управляющий, я ручек не возьму! Чтобы вам знать какой я мастер, дайте мне серьезную работу.

Я назвал самую серьезную вещь, круга „Рококо“, на которых можно было хорошо заработать. Это, видимо, было для всех так неожиданно, что все уставились на меня, как на сумасшедшего.

— Вот так гусь!—протянул помощник.—Ну хорошо. Дайте ему десять кругов. Посмотрим!

Когда я пришел в мастерскую с работой, там уже все знали, что я, как они говорили, „срезался“ прямо с помощником управляющего и отказался от плохой работы. Это им, ненавидящим администрацию, понравилось, и они встретили меня словами:

— Ну, брат, молодец, из молодых, да ранний!

С этих пор между мной и другими рабочими сразу установились хорошие отношения. Но они были далеки от близких и сердечных. Во первых, я был молод, во вторых, мы по разному оценивали самих себя. Рабочие были до того принижены, что за позор считали даже красиво одеться, не говоря уже о других потребностях.

— Что это мы, господа, что-ли?—говорили они,—нам это и не к лицу.

Чтобы какой-нибудь рабочий-самоварщик вышел в праздник на улицу одетым, как другие граждане города, т. е. в европейском костюме и шляпе, да убей его, он бы и в ту пору не согласился.

Был такой случай: во время празднования столетия Пушкина, пустили в продажу так называемые „Пушкинские шляпы“. Я купил, первый раз в жизни одел ее, и по заправски, а не в шутку, стал в ней гулять. И что же вы думаете?—когда фабричные ребятишки и мастера увидали меня в шляпе, они буквально ходили за мной по улице, как за слоном, смеялись, улюлюкали и тотчас же дали мне название: „картонный барин“.

Такова была ненависть рабочих ко всему, что не походило на них. У них была своя одежда: простые сапоги, рубаха, шаровары, пиджак, крытый козырек фуражки. Волосы по праздникам они мазали „деревянным маслом“ и стриглись в скобку.

Так ходили и старые, и молодые рабочие, от дня рождения до самой смерти. Эта специфическая фабричная одежда отличала их от всех граждан, и даже портнихи не решались знакомиться с молодыми рабочими, чтобы не быть осмеянными своим кругом. Рабочие самоварщики жили жизнью особой, не соприкасаясь ни с какими другими общественными группами.

Мне такая жизнь не понравилась.

Как-то инстинктивно я почувствовал, что мы, рабочие, имеем право на лучшее.

Внешним видом я хотел доказать товарищам, хозяину и его приказчикам, что мы, хоть и рабочие, но одеваемся не хуже их.

Мне почему-то казалось, что если бы рабочие захотели стать чистенькими и прилично одетыми, их бы всюду принимали, они бы многое увидели, многому научились и с ними, признав их за людей, стали бы считаться.

Мысль хорошо одеться, стать умнее хозяев, пробраться к ним и быть ими принятым, как равный, а потом вдруг сказать: вот видите, я среди вас не хуже вас, а я рабочий, почему же вы нас не считаете за людей?—эта мысль не давала мне покою.

Мое убеждение окончательно окрепло с того момента, как я, мальчик-мастер, столкнулся лицом к лицу со своим классовым врагом, владельцем Баташевской фабрики Ф. Ф. Занфтлебом.

Он и управляющий проходили по мастерской. Я в это время работал красивую приделку для самовара, предназначенного на Парижскую выставку. Оба подошли ко мне, остановились и стали смотреть, как я работаю.

Внешнюю разницу между рабочими и остальной частью городского населения я давно заметил, но в этот раз, когда близко от меня стал хозяин, она резко бросилась в глаза и оставила глубокий след. Мой враг был очень красив, выхолен, надушен и изысканно-богато одет. Красивая голова гордо сидела на плечах и орлиный взгляд холодных, как железо глаз, так и пронизывал.

Юркого вида управляющий был тоже хорошо одет, но веление своей манеры подобострастно говорить и забежать перед хозяином—казался ничтожеством.

О нас, рабочих, и говорить не приходится,—мы, в сравнении с ним, были загнанными рабами.

Рабочие, при виде его, только низко кланялись, а он и головой не кивал. Он как бы не замечал нас, словно мы для него были не людьми, а машинами.

— Вот черт-то пошел—говорили всегда рабочие, злобно провожая его глазами.

Непосредственной связи между рабочими и этим владельцем почти не было: все делалось низшей администрацией,—и все же его боялись.

Боязнь перед хозяином была настолько сильна, что рабочий соглашался скорее заплатить штраф, взятый с него сверх закона, чем идти в кабинет к нему и объясняться. Он умел так распекать рабочих, что они из кабинета вылетали мокрые. Конечно, он не ругался, как извозчик, он не дрался по морде, как делали это маленькие фабрикантики, он только говорил, говорил таким тоном и в такой обстановке кабинета, что самое очерствевшее сознание забитого рабочего чувствовало: хозяин-фабрикант все, а ты, рабочий, для него—червь, ничтожество. Когда мне лично пришлось однажды войти в этот проклятый кабинет, честное слово, я испытывал тот же трепет и страх, который бывает у верующих, подходящих к раке святого.

— Как твоя фамилия?—бросил он мне, осмотрев работу.

— Овсов, Федор Федорович, новый мастер—предупредительно ответил управляющий.

— Надо лучше делать,—так не годится.

И не успел я ответить, как они ушли.

— Ну, Овсов, жди, брат, теперь медали от чорта,—говорили рабочие. Сам отметил!

Правда, фабрика имела право выдавать рабочим медали за долголетнюю работу, и такие медалисты у нас были, но на этот раз рабочие шутили, а мне было обидно, что мы, работающие на этого чистенького, выхоленного человека, им же не признавались.

Летними вечерами, когда все было зелено и облито огнем заходящего солнца, мы, словно каторжные, стоя у закрытых решетчатых ворот в ожидании гудка, разрешающего нам бежать домой, чтобы наесться и лечь спать, видели сквозь решетку, как к подъезду хозяйского дома подкатывала чудная коляска, с парой красивых породистых рысаков, еле удерживаемых толстым мордастым кучером.

Не сдились, а впархивали в коляску тонкие, неземной красоты женщины.

А „сам“. Разве он был таким суровым, жестким, и холодным, как с нами рабочими? Ничего подобного!

Он, как с грязным лицом человек, только что умывшийся, был совершенно не похож на прежнего: он был любезен, предупредителен и улыбался так, что на дальнее расстояние сверкали белые-белые зубы.

— Вот живут-то!—говорили рабочие, тяжело вздыхая.

— Один бы день пожить так и умереть.

Коляска плавно выкатывалась с асфальта залитого двора и тотчас же гудел гудок.

Желая поскорей вырваться из проклятых ненавистных стен фабрики, где тебя считали червем, держали взаперти, как бешеного, было настолько сильно, что на железные ворота напирали так, что сторож не мог вытащить засов.

— Слушай, оглашенные,—кричал он,—ну что вы прете! Осади назад, дьяволы!—уже грозно говорил он.

— Отпирай, не задерживай!—неслось сзади.

Была давка, ругань, смех, свист, остроты.

Наконец, ворота распахивались и рабочие шумно вылетали на улицу.

Вот тут только я понял, почему рабочие не давали проходу, непохожим на рабочих.

Это был первый грубый протест, первая форма классового сознания, кующегося стенами большой фабрики.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Фабрика развилась на глазах у многих рабочих, в какие-нибудь пятьдесят лет.

Один из медалистов рабочих, проработавший на фабрике сорок лет, хорошо знал основателя фабрики.

— Ведь когда то—говорил он,—царство ему небесное, Васька Баташев и я работали вместе. И вся фабрика-то была вон с ту хату.

Приказчиков было всего навсего Богдан, да водовозка (лошадь), Утром, бывало, Богдан воду привезет, в обед самовары накует, а вечером покойницу Марью Федоровну в церковь отвезет.

А ныне, ишь фабрика-то стала,—и концов не найдешь.

Этот медалист рабочий был старый престарый старичек, маленького роста, худенький, щупленький, с голой, как коленка головой, с жиденькой зеленой от меди бороденкой и густыми нависшими зелеными бровями. Звали его Казюк. За долголетнюю работу ему дали

большую золотую медаль, которую он с гордостью надевал на шею во время фабричного молебствия, и положили пенсию.

Он имел право получать ее, не работая. Но он так сжился с фабрикой, что в будние дни не мог сидеть дома, приходил на фабрику и кое-что делал. Потом, как то заболел и целый месяц не показывался.

В день получки пришел.

— Ты что Казюк,—за деньгами небось?—Спросили в конторе при раздаче расчетных книжек.

— Знамо за получкой.

— А где ты пропадал целый месяц?

— Где ж пропадал, дома был, хворал малость. Года свое берут братцы, стар стал.

— Ну-у, Казюк, стар; ты еще десятерых молодых за пояс заткнешь. С старухой то спишь небось?—Зубоскалили молодые конторщики.

— Эх, вы молодежь, молодежь!—греховодники!

— Так вот, Казюк,—ты говорят дома то не лежал, а ходил, а на фабрику не показывался. Стыдно обманывать на старости лет. А за деньгами пришел. Ступай теперь к самому, получки нет тебе.

Старик заплакал.

Четыре сына старика, работавшие тут-же на фабрике, хорошие мастера, трезвые, смирные, всеми зубами держащиеся за фабрику, никогда не выказывавшие недовольства даже мысленно—возмутились и пошли к самому объясняться. Они, как отец, несомненно проработали бы всю жизнь на этой фабрике, но, заступившись за права отца, сразу попали в опалу и в момент, когда администрации надо было свести счеты с рабочими, их, с детства проработавших на фабрике, выбросили.

Режим был суровый. Сознательно или бессознательно, только рабочим в мастерской сходиться вместе не позволялось.

Каждый стой у своего места.

Управляющий и смотритель мастерской так и шныряли.

—Что с, поговорить пришел—тоненьким хитрым голоском говорил управляющий, подбегая к зазевавшемуся рабочему, подошедшему к своему товарищу.

— Да, поговорить. За подпилком пришел—брусить нечем.

И говорил обращаясь к товарищу:—дай одну сторонку подпилка, из зубки принесут, отдам.

Управляющий, конечно, не верил этому, но придрататься было нельзя и скрепя сердце шел дальше.

— Что, Иванов, попал—говорили рабочие зазевавшемуся товарищу.

— Ну, да, попал. Кто мастера обманет, тот трех дней не проживет—и, весело помахивая подпилком, возвращался на свое место.

О чемнибудь поговорить, свободно, по душам, можно было только в том месте, куда самые что ни на есть знатные и богатые люди пешком ходили. И, надо заметить, помещение это было и солидное, человек на семьдесят, и приличное. Крытое длинное перило и овальная длинная спинка.

Несмотря на суровый фабричный режим, по понедельникам в особенности после получки, оное место было настоящим клубом.

Тяжело похмельные просиживали здесь часами; лютые, игроки кулачные бойцы забегали то и дело послушать или рассказать о своих впечатлениях или похождениях в прожитый воскресный день. Послушать было что.

В один гулевой день рабочие фабрики успевали побывать в церкви, на базаре, выпить, поохотиться, сыграть в карты или в орлянку, подраться на кулачном бою и, по рабочему, пофлиртовать.

Михаила Ивановича Лысого, так бывало хлебом не корми, если он в воскресенье не сходит в церковь и не половит щеглят. Большой был любитель специально щеглиной охоты и церковного пения.

Алешка Апостол славился, как игрок и боец.

Мишка Трепло и Ванька Блоха только и знали, что ухаживали за горничными, а Николай Ворон ничего так не любил в жизни, как выпить.

— Как, Никола, выпил вчера? спрашивают бывало мастера у сидящего понуро Николы.

— А, что ж, по вашему, что ли, чижей ловить буду; конечно выпил.

— Ну-ну-ну, ты расскажи как, где?

— Где!? Я и сам не знаю-где; до обеда еще помню кое что, а после... С утра попали мы на охоту к Лысому, дорогой с Васькой Забудыгой зашли к Тишке кабатчику; бутылку выпили там, бутылку с собой взяли. Приходим, на охоте уже целая компания. Михаил Иванович штук сорок щеглят покрыл. На радостях послали за четвертью, да наша бутылка. Развели костер на пустоше, стали баранину жарить. Предварительно по чарочке пропустили. Сидим, разговариваем—глядь, криковые щеглята: пупить, пупить. Смотрим, недалеко артель села. Криковые приняли.

— Шпарни, шпарни!—кричит Михаил Иванович. Он в это время, как раз баранину мешал.

Все мы конечно присели, Михаил Иванович ползком к нам. Шпарнули *). Щеглята к току. Но артель должно быть попала пуганая, один щегол в ток, другой из току. Михаил Иванович хмурится, а веревку от „понц“ держит наготове. Ребята, говорят: крой Михаил Иванович, сколько есть! Старик сердится, а говорить боится. Даже дышать перестал.

Сидим, ждем, а я нет-нет да выпью. Чтож ты думаешь, старик дождался своего. Птица пообгляделась, попривыкла к месту, забылась малость и пошла, то в ток, то на клетки, то на репей, а потом, как пить захотела, да прямо все, как один, в ток. Ни один не выскочил, всех покрыл старик. Ну тут и пошла заводилочка, кто щеглят выбирать, кто собирать охоту, кто баранину дожаривать, а я нет, нет, да пропущу стаканчик.

Незаметно надрался здорово. Когда посылали за второй четвертью, я помню только, что надо мной кто то апостола читал. Проснулся тут же на охоте, вечером в репейнике. Голова трещит так, аж зубы ноют. Кругом-никого.

Слушая Николу Ворону рабочие вставляют какие нибудь замечания о своей пьянке воскресной, на этой почве подбирается определенная группа и, глядишь, в обед Никола Ворона опохмелится.

Сам Михаил Иванович Лысый об охоте мало рассказывал,—это он считал бахвальством, но в плоскости нейтральной, как, например, о церковной службе, рассказать любил.

*) Дернули за веревку, на которую привязывают под крылышки щегла. Сидящие на дереве щеглята, видя своего собрата, подлетают к нему, а в это время их накрывают сеткой т. е. „понцами“

— Был вчера в соборе в ранней, рассказывает он, сидя на столчаке. По сторонам и около, группируются любители церковного пения, были даже из рабочих певчие.

— Да... Так вот. Привез архиерей какого то дьячка из епархии. Голосища, что твоя труба ерихонская. А из себя человек невиден. Да... Дело дошло до апостола. Говорят, в церкви то, кроме архиерея, и не знал никто, что такой дьячек есть. Выходит. Так что ж вы думаете! Не в конце, не в середине, а прямо сначала, как взял октавой: „братие“, так по телу аж мороз подрал, словно не голосом кто взял, а крупной дробью по листовой меди шарахнул. А потом и пошел, и пошел. Говорят, архиерей даже с места соскочил, улыбается, руками машет, дескать, во нашел какого. А старый протодьякон стоит, как бык—на-супился. Наш, Краснопевцев бас, стоит на клиросе, бестия, и ухмыляется,—рад каналья, что нашелся таки человек сильнее протодьякона. Протодьякона видимо за живое задело. Выходит с евангелием, красный пре-красный, словно только что бутылку хватил. Говорят, у него меньше и меры нет. Открывает евангелие и начинает. Все шло обнаковенно, а потом, как начал раскачиваться, начал, да на самом конце, что было силы в утробе надулся, да как рявкнет! Ну, тут даже все дышать перестали. Две лампадки около алтаря погасли, а по церкви, словно гром прокатился.

Краснопевцева должно быть засвербило. Подходит к регенту и шепчет что то. Смотрю,—переменили ноты. Подходит „милость мира“, так он, сукин кот, в пику тому и другому, как запел вразяжку „ми-лость мира жертву хваления“. Отдай все-и мало! Даже молодые лоботрясы, что всю обедню по девкам стреляют, ахнули.

Знай наших.